

common place

КРАСНЫЙ ГОРЬКИЙ

**ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ
(1896-1917)**

**Москва
2016**

УДК 821.161.1-3
ББК 84(0)5
Г 67

Г 67 Красный Горький. Избранные статьи (1895-1917) [сб. статей]. — М.: Common place, 2016. — 264 с. ISBN 978-999999-0-07-3

В сборник вошли избранные социально-политические и философские статьи Максима Горького, написанные в период с середины 1890-х и до революции 1917 года. В отличие от знаменитых «Несвоевременных мыслей», а также публицистики советского периода, представленные в книге статьи интересны не только в контексте своей эпохи. Их темы актуальны по сей день: отношения между правящими классами и народом, цинизм и общественная пассивность, а также исторически сложившиеся особенности общественной жизни и мировоззрения русского народа.

Максим Горький был не только блестящим писателем, но и талантливым публицистом, стоявшим в оппозиции к монархическому строю. Его статьи отражают многообразие идей, определивших ранний этап творчества писателя: от позднего народничества и социал-демократии до идеологии богостроительства Богданова-Луначарского.

ISBN 978-999999-0-07-3



Публикуется под лицензией Creative Commons

Разрешается любое некоммерческое воспроизведение со ссылкой на источник.

Содержание

Среди металла (В машинном отделе) . **6**

Развлечения . **12**

Заметки о мещанстве . **21**

По поводу . **63**

О цинизме . **71**

Разрушение личности . **94**

О писателях-самоучках . **180**

О дураках и прочем . **245**

Среди металла (В машинном отделе)

Когда поутру войдешь в машинный отдел — это царство стали, меди, железа, — увидишь спокойный, неподвижный и холодно блестящий металл, разнообразно изогнутый, щегольски чистый, красиво размещенный, присмотришься ко всем сложным организмам, каждый член которых создан человеческим умом и сработан его рукой, — чувствуешь гордость за человека, удивляешься его силе, радуешься его победе над бездушным железом, холодной сталью и блестящей медью и с глубокой благодарностью вспоминаешь имена... людей, ожививших бездушные массы, из которых раньше делалось гораздо более мечей, чем плугов.

Как своеобразно хороши и как сильны все эти блестящие станки, поршни, цилиндры, центрифуги, сколько могучего в серой массе парового котла, сколько холодной силы в зубьях разнообразных пил, сколько щегольско-

го, кокетливого блеска в арматуре и мощи в громадных маховиках, приводящих в движение десяти- и стопудовые части машин. Все это стоит молча, неподвижно, блещет силой, гармонией частей и полно смысла, полно движения пока еще в потенции, но возможного, — стоит дать руке человека один толчок, и тысячи пудов железа завертятся с головокружительной быстротой.

Пред вами целое здание из труб красной меди, прихотливо изогнутых, ослепляющих ваши глаза блеском. Вот аппарат для сахароварения. В нем можно за один прием сварить двух волов. Вот страшно оскалил стальные зубы лесопильный станок, здесь простер во все стороны свои тонкие пальцы мотальный станок, там вся, как в паутине, опутана пряжей чесальная машина. Паровой молот, готовый грохнуть о наковальню, висит в воздухе, неизвестно как удерживаясь в своей раме. Цилиндры и поршни моторов блестят на солнце, свободно проникающем со всех сторон в ажурное здание отдела. Всюду — чудеса из металлов, и всюду все молчит и не движется, ожидая команды человека, своего создателя и владыки.

А он — этот творец и владыка — тут же, около своих стальных детищ. Он ползает вокруг них и под ними, весь в грязном масле, в поту, в рваной одежде, с грязной тряпкой в руке и с утомлением на эфиопски черном

лице, глаза у него странно тупы, он неразговорчив, малоподвижен, автоматичен, в его фигуре нет ничего, что напоминало бы о нем как о владыке железа. Он просто жалок и ничтожен в сравнении с блестящим, сильным, красивым металлом, созданным для облегчения человеческой жизни и человеческого труда.

На него — живую плоть и кровь — почему-то неприятно смотреть в царстве бездушных машин.

Уходишь из отдела с чувством удивления пред машинами, с чувством смущения и обиды за человека.

Потом возвращаешься снова, когда «все машины в действии».

Ажурное здание все, от основания до купола, дрожит и дребезжит, как бы испуганное массой движения, вмещенного им в себе. Кругом, куда ни кинешь взгляд, все движется, вертится, ходит, вьется, летает и творит оглушающий шум. Громадные маховики разрезают воздух, и он как-то протестующе шипит; посвистывают поршни, вылетая из цилиндров; жужжат валы, грохают педали станков, где-то льется и плещет вода, гневно фыркают аппараты для приготовления искусственных минеральных вод, свистят приводы, повизгивают пилы, и сто раз отраженное эхо усиливает эту какофонию до размеров адской вакханалии.

С блеском, с шиком, со страшной силой движутся сталь и железо, подчиняясь одному

общему принципу, регулирующему каждое движение, придающему всей этой работе однообразный, усыпляющий душу ритм. Здесь все поставлено раз навсегда в известный определенный шаблон — это колесо обернется столько-то раз в минуту, ни больше ни меньше, этот поршень выдвинется из цилиндра на столько-то дюймов, ни больше ни меньше. Тут нет места воображению, фантазии, уму. Тут царствует неодолимое, мертвое движение, лишенное свободы.

В глазах мелькают громадные куски железа и чугуна, сверкает сталь, сияет медь, рычаг, шипят, гудят бездушные машины.

Человек в поту и в грязи, человек в оборванной одежде молча поит маслом маленькие части машин и стирает с них грязь и пот гораздо чаще, чем со своего лица и рук, украшенных ссадинами, тогда как на железе нет ни малейшей царапинки. Среди этого шума, гула и непрерывного движения он, как игрушка, изломанная, старая игрушка, жалок и не нужен. Он так автоматичен, так подчинен движению машин и углублен в созерцание хода их работы, что кажется — у него нет своей жизни, и он заимствует энергию движения у машин.

Разве все эти гиганты из металла, танцующие монотонный, тяжелый менуэт, разве они облегчают его труд? Он всецело в их власти. Они кружатся, бегают, грохочут, оглушают, не

уставая — движутся, не чувствуя утомления — работают, без боли ломаются, — он, утомляясь, изнывая, боля, ухаживает за ними, тупой и равнодушный ко всему от усталости.

Постояв минут десять где-нибудь в стороне от этого танца и посмотрев на него, чувствуешь себя опьяненным этим шумом и движением, подавленным и разбитым. Кажется, что ты присутствовал при чем-то глубоко ироническом, что ты был в царстве, где железо главенствует, а человек служит ему, служит рабски, притупляя свои нервы автоматизмом созерцаемого им движения, не смея приложить в эту гармонию пара и металла ничего, ни одной йоты своей фантазии, ничего от самого себя, всецело подчиняясь существующему порядку движения шкивов, поршней, приводов и прочих частей всех этих стальных организмов, живущих за счет его крови и плоти, притупляющих его ум и сердце.

Уходишь из этой адской пляски стали, и долго еще пред глазами у тебя мелькают деревянные пальцы, мотающие пряжу, зубья пил, перекусывающие дерево, стальные лезвия, строгающие железо, какие-то челюсти, жующие металл. И все это так равнодушно, однообразно, бесчувственно, — с одинаковой силой и тем же строго размеренным движением, каким она пилит дерево, машина оторвет вам голову, сжует руку, раздробит все кости.

А служащий ей человек все возится около нее, и поит ее маслом, и заботливо обтирает с нее пот, и следит, не отрывая глаз, за ее автоматичной, наводящей на живую душу тоску и ужас, скучной, но так громко-шумной жизнью.

(1896)

Развлечения

После дня, проведенного среди разнообразной архитектуры выставочных зданий, в пестром хаосе красок, в разношерстной толпе людей, всегда создающей вокруг себя такой странный шум — строптиво-глухой, недовольный, жадный, — наслушавшись громкой музыки, оглушенный звоном колоколов, — чувствуешь, что мозг твой засорен, душа подавлена и нервы как-то тупы. Хочется иных впечатлений — таких, которые, лаская душу своей красотой, оживляли бы ее, будя ум своим содержанием, изощряли бы его. Хочется уйти из царства индустрии, из сферы всевозможных диковин и чудес, — уйти куда-нибудь подальше, куда не долетал бы шум этого искусственно созданного мира и где было бы более просто, не так тесно и не так много резких противоречий, оскорбляющих глаза и душу. Хочется сразу вобрать в себя, всосать всеми нервами эту яркую жизнь в свой мозг, переработать ее в себе,

всю сразу, выжать из нее квинтэссенцию ее внутреннего смысла и, выкинув ее из головы на бумагу, в виде тесной сотни сжатых строк, — сделать это... и больше ни звука о выставке, об этой универсальной лавочке, в которой собрано так много образцов разных, несомненно, хороших товаров, ибо все они сделаны «напоказ». О, конечно, выставка имеет большую цену для торговцев и фабрикантов, но она утомляет человека... и... и слишком много горьких дум она возбуждает...

Выставка поучительна гораздо более как правдивый показатель несовершенств человеческой жизни, чем как картина успехов промышленной техники страны. А впрочем — речи о таких вещах возбуждают скуку у читателя; читатель в газете ищет прежде всего развлечения: уступая его вкусу на сей раз, поговорю о развлечениях, ибо и они могут иллюстрировать смысл современной жизни так называемой «культурной толпы» ничуть не хуже всего другого, чем живет эта толпа. Итак, будем говорить о развлечениях культурной толпы.

Известен общий характер ярмарочных развлечений, это — популяризация разврата и имитация искусства, если можно так выразиться. Разврат здесь понимается как пикантное удовольствие, и чем острее умеют сделать его «пикан», тем большим успехом пользуются и тем больший «фурор» делают виртуозы его

популяризации. Искусство — то же развлечение, и чем оно эксцентричнее, чем более оригинальные формы умеет придать популяризатор музыке, живописи, декламации, пению — тем солиднее его успех, тем глубже симпатии ярмарочной публики к такому популяризатору. Нужно отдать справедливость деятелям кафешантанной эстрады, у них много достоинств: они неистоимы в остроумии, с которым развращают свою публику, они крайне чутки к ее запросам, они — веселы, а это самое главное, чего требует от них завсегдатай ярмарочного шикарного кабака.

Я далек от обвинения всех этих «этуалей» и «неподражаемых», «вне конкуренции» стоящих дам, — я не обвиняю их ни в чем. Они суть продукты спроса, выдвинутые временем на рынок разврата. Их создала публика, эта «культурная толпа», наполняющая с восьми часов вечера до четырех часов утра ярмарочные кабаки. Ей нужны были образчики всех видов порока, и нужно было ей дать их в самых изящных и привлекательных формах. Вот ей и дают их. А если завтра на ярмарке появится Петр Амьенский и провозгласит крестовый поход против разврата — эта же самая «культурная толпа», сегодня аплодирующая «этуалам», завтра разорвет их на части. Ведь она, в сущности, культурна только внешне, ее культура — это культура портных и сапожников,

культура галстука, внутренне же она — стадо, как и всякая другая толпа.

Не бог сотворил всех этих людей в уродливо широких брюках и неприлично коротких тулупках — их создали портные. Этим культурных людей ни в чем нельзя винить — это люди «без руля и без ветрил», люди, у которых вместо желаний — похоти. Их следует пожалеть, как существа, измученные развратом, пресыщенные и жалкие, для которых бытие более тяжело и скучно, чем для всех других людей.

Но — будем говорить о развлечениях просто, не морализируя, ибо ведь все равно мораль бесполезна там, где ее некому и нечем воспринять...

У Ломача ожидают выхода на эстраду одной из «этуалей». Ожидающие — возбуждены и нервозно постукивают тростями в пол, судорожно двигаясь на стульях. Среди них преобладает «выставочный человек» с розеткой на груди, в инженерной форме, много купечества — культурного, бывавшего за границей, владеющего двумя-тремя языками, одетого по последней моде, — много «братьев-писателей», окруживших маститую фигуру старика с седыми волосами и таким благородным лицом. Это — человек с крупным именем и хорошим прошлым... Ему как будто бы не место среди этой камарильи, собравшейся прожить несколько сот дешево доставшихся ей денег.

Вот на эстраду выпорхнула Паула Менотти — гром аплодисментов грянул ей навстречу. Она низко склоняется над рампой, показывая публике обнаженные плечи и грудь, и публика жадными, загоревшимися глазами торопится рассмотреть через стекла биноклей и лорнетов ее роскошное, соблазнительно красивое тело, которое она показывает им с такой циничной грацией. Раздаются слова гривуазной песенки, исполняемой с французским шиком, полной двусмысленностей, поясняемых жестами и телодвижениями. Публика замирает в восторге и упоении пред этим искусством «Казино», «Фоли-Бержер» и других бульварных сцен Парижа. Наркотический запах духов несется от этой женщины. Она уходит в буре рукоплесканий... на ее месте стоит уже другая — иные формы, иная песня, но все тот же циничный смысл. Они сменяются, как в калейдоскопе, эти красивые женщины, эксцентрично одетые, или, скорее, раздетые. Они расппевают такие вещи, о которых не принято говорить нигде, кроме холостых компаний. Какой-то юноша в мундире студента-горняка, с бледным лицом, нервно вздрагивающими ноздрями, смотрит на сцену и воспитывается. Фабрикант с толстыми губами сладко чмокает ими, и щурит глаза, и поводит рыжими усами, как влюбленный кот. Сотрудник столичной газеты, отвалившись на спинку стула и положив ногу на ногу, лорниру-

ет «этуаль» с видом знатока. Старый писатель в такт песне щелкает себя пальцами по колену и мечтательно улыбается, ни на миг не теряя своей благородной осанки.

Гремит и сладострастно поет музыка — то взрывы страсти, то муки неги, то тоску пресыщения поют струны скрипок. Вакханалия все разгорается, и публика становится все менее похожа на людей.

Душно, шумно, странный аромат носится в зале. А со сцены одна за другой речитативом несутся бойкие реплики полуодетых женщин.

*Он был слишком толст,
А она тонка... —*

распевает с гадкими ужимками «известная русская шансонетная певица, всюду пользующаяся громадным успехом».

Публика в восторге от ее рассказа, обильно одобренного разными пикантными подробностями и передаваемого «по-русски», без французских двусмысленностей, а просто, ясно... Атмосфера все более сгущается, все более полна ароматами духов и женского тела. Крики «Браво! Бис!» оглушают вас...

— Восторг ты мой! — ревет, как медведь, миллионер-золотопромышленник.

Антракт. Публика, толкая друг друга, бежит в уборные артисток. Туда же мчатся лакеи

с крюшонами, с фруктами, винами на подносах. Студент-горняк, прижавшись к стене, дрожащей рукой оттирает потный лоб, и глаза его блуждают так странно, что он кажется человеком, которого в этот момент можно нанять за сто рублей для совершения убийства. По зале всюду ходят певички, вызываясь улыбаясь публике. Кругом все так роскошно — культура домов терпимости из года в год повышается, это факт.

Кое-где за столики садятся женщины, к ним подлетают эти кабацкие люди, и через пять минут на столе является вино, раздаются циничные речи, задорный, дразнящий смех...

Однако надо уйти...

Два мальчика сидят перед костром, на берегу Оки, — один из них весь беленький, точно седой, с ясными, голубыми глазами, другой — с острым, худым лицом и с бойкими, плутоватыми глазами. Вокруг них — тьма, и тени вокруг костра дрожат, как будто бы танцуют безмолвный танец теней. Повсюду на темном бархате реки громадные суда подняли кверху мачты с фонарями, над ними небо в серых облаках, вдали недвижной глыбой виден горный берег, и всюду — по реке, по берегу — сверкают огоньки судов и лодок. Ночь так темна, сыра, грозит дождем...

— Рыбачите? — спрашиваю я ребятишек.

— Рыбачим, да не ловится... Ершей вон на-

ловили штук десяток, — говорит мне худой мальчик, кашляет и кутается в рваное пальтишко.

— Чай, скучно вам ловить-то?

— Не, ничего, — кивает головой мальчонка.

— Мы любим, — говорит его седой товарищ, улыбаясь мне своими голубыми глазами.

Я закуриваю папироску от огня их костра и оглядываюсь. Вдали, сзади нас, на хмуром небе ночи сияет зарево опалового цвета, оно такое холодное, мертвое. Там — выставка, это ее электрические огни и огни гостиниц отражены серыми облаками.

— Мы тут такую штуку придумали, — заливаясь смехом, говорит мне мальчик с острым лицом. — Возьмем ерша, приткнем его удочкой на палку и в огонь палку-то! Уж он, ерш, так-то ли учнет хвостом вилять! Смехота глядеть! Жарко ему — живой ведь он, а огонь-то жжется тоже!

Оба они весело смеются, глядя друг на друга.

«Тоже развлечение», — с болью глядя на них, думаю я. И спрашиваю:

— Чай, ему больно? Как вы думаете?

— Ведь он, ерш-то, — рыба! — уверенно говорит седой мальчик.

— В ем крови нету, — поясняет его товарищ.

— Ежели бы это крыса была, тогда бы ей было больно! — доказывает мне седой.

Заметки о мещанстве

I

Мещанство — это строй души современного представителя командующих классов. Основные ноты мещанства — уродливо развитое чувство собственности, всегда напряженное желание покоя внутри и вне себя, темный страх пред всем, что так или иначе может вспугнуть этот покой, и настойчивое стремление скорее объяснить себе все, что колеблет установившееся равновесие души, что нарушает привычные взгляды на жизнь и на людей.

Но объясняет мещанин не для того, чтобы только понять новое и неизвестное, а лишь для того, чтобы оправдать себя, свою пассивную позицию в битве жизни.

Отвратительное развитие чувства собственности в обществе, построенном на порабощении человека, может быть, объясняется тем, что только деньги как будто дают личности некоторую возможность чувствовать себя сво-

бодной и сильной, только деньги могут иногда охранить личность от произвола всемогущего чудовища — государства.

Но объяснение — не оправдание. Современное государство создано мещанами для защиты своего имущества — мещане же и дали государству развиваться до полного порабощения и искажения личности. Не ищи защиты от силы, враждебной тебе, вне себя — умей в себе самом развить сопротивление насилию.

Жизнь, как это известно, — борьба господ за власть, и рабов — за освобождение от гнета власти. Темп этой борьбы становится все быстрее по мере роста в народных массах чувства личного достоинства и сознания классового единства интересов.

Мещанство хотело бы жить спокойно и красиво, не принимая активного участия в этой борьбе, его любимая позиция — мирная жизнь в тылу наиболее сильной армии. Всегда внутренне бессильное, мещанство преклоняется перед грубой внешней силой своего правительства, но если — как мы это видели и видим — правительство дряхлеет, мещанство способно выпросить и даже вырвать у него долю власти над страной, причем оно делает это, опираясь на силу народа и его же рукой.

Оно густо облепило народ своим серым, клейким слоем, но не может не чувствовать, как тонок этот холодный слой, как кипят под

ним враждебные ему инстинкты, как ярко разгорается непримиримая, смелая мысль и плавит, сжигает вековую ложь...

Этот натиск энергии снизу вверх возбуждает в мещанстве жуткий страх пред жизнью, — в корне своем это страх пред народом, слепой силой которого мещанство выстроило громоздкое, тесное и скучное здание своего благополучия. На тревожной почве этого страха, на предчувствии отмщения у мещан вспыхивают торопливые и грубые попытки оправдать свою роль паразитов на теле народа — тогда мещане становятся Мальтусами, Спенсерами, Лебонами, Ломброзо — имя им легион...

В будущем, вероятно, кто-то напишет «Историю социальной лжи» — многотомную книгу, где все эти трусливые попытки самооправдания, собранные воедино, представят собой целый Арабат бесстыдных усилий подавить очевидную, реальную истину горами липкой, хитрой лжи.

Мещане всегда соблазняются призрачной возможностью доказать самим себе и всему миру, что они ни в чем не виноваты.

И доказывают более или менее многословно и скучно, что в жизни существуют неодолимые, роковые законы, созданные богом, или природой, или самими людьми, что по силе этих законов человек может удобно устроиться только на шее ближнего своего и что, если все рабочие захотят есть котлеты, — на земле не хватит быков...

Противоречия между народом и командующими классами — непримиримы. Каждый человек, искренно желающий видеть на земле торжество истины, свободы, красоты, должен бы, по мере сил своих, работать в пользу быстрой и нормального развития этих противоречий до конца — ибо в конце этого процесса пред всеми людьми с одинаковой очевидностью встанет и преступность нашего общественного устройства, и ясная для всех невозможность дальнейшего существования его в современных формах...

Мещанство всегда пытается задержать процесс нормального развития классовых противоречий.

Когда в жизни усиливается трение враждебных сил, мещане тревожно прячут головы под крыло какой-либо примирительной теории. Уклоняясь от личного участия в борьбе, мещанин старается ввести в нее более или менее авторитетное третье лицо и возлагает на него защиту своих мещанских интересов. Раньше он ловко пользовался для своих целей богом; задавив бога устройством церкви — обратился к науке, везде стараясь найти доказательства необходимости для большинства людей подчиниться меньшинству.

Каждый раз, когда на светлом и величественном храме науки появляется какая-то темная, подозрительная плесень, — так и знай-

те! — это мещанин коснулся храма истины своей нахальной, нечистой рукой...

Науку родили опыт и мысль человечества, она есть свободная сила, которую трудно подчинить интересам мещанства, — в науке не нашлось доводов, оправдывающих бытие мещанства, напротив — чем дальше она развивается, тем более ярко освещает вред паразитизма...

На почве усиленных попыток примирить непримиримое у мещанина развилась болезнь, которую он назвал — совесть. В ней есть много общего с тем чувством тревожной неловкости, которое испытывает дармоед и бездельник в суровой рабочей семье, откуда — он ждет — его могут однажды выгнать вон. В сущности, и совесть — все тот же страх возмездия, но уже ослабленный, принявший, как ревматизм, хроническую форму... Эта особенность мещанской души позволила мещанину создать новое орудие примирения — гуманизм, — это нечто вроде религии, но не так цельно и красиво: тут есть немного логики, немного доброго чувства, жалости, и много наивности, и всего больше христианского стремления дать людям вместо хлеба насущного мыльные пузыри. В конце концов — это милостыня народу, довольно жалкие и пресные крохи, великодушно брошенные богатым Лазарем своему бедному тезке... Это не имело успеха, народ не насытился, не стал более кротким и по-прежнему хотя

и безмолвно, но очень косо смотрел голодными глазами, как пожирались плоды его труда... Было ясно — гуманизм не может служить для мещан орудием защиты против напора справедливости...

Мещанин любит говорить народу: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя», — но под ближним всегда подразумевает только самого себя и, поучая народ любви, оставляет за собой право жить за счет чужого труда — незыблемым.

Когда мещанство убедилось, что народ не хочет быть гуманным и учение Христа не примиряет рабочего с его ролью раба, навязанной ему государством, — оно почувствовало и гуманизм, и религию как излишний балласт в своей тесной, квадратной, маленькой душе, оно захотело освободить себя от этого балласта — отсюда и начался отвратительный процесс разложения мещанской души.

Нужно было видеть пьяную радость мещан, когда Ницше громко заговорил о своей ненависти к демократии!

Им показалось, что вот наконец явился некий Геркулес, он очистит авгиевы конюшни мещанской души от серой путаницы понятий, освободит из мелкой и пестрой сети чувствований, которую они так долго, усердно и бездарно плели своими руками, которая связала их взаимно друг друга отрицающими нитями, — «я хочу, но я не должен, я должен, но я не хочу», —

связала и привела в тупик бессильного отчаяния — «я не могу жить». Мещанство немедленно сделало из Ницше идола, заключив всю многообразную душу его в один жуткий крик: «Спасайтесь, как сможете. Мир погибает, ибо идет демократия!»

Но это был крик агонии самого мещанского общества, издыхающего от утомления в поисках хотя бы и дешевого, но прочного счастья, хотя бы и скучного, но устойчивого покоя, тесного, но твердого порядка. Может быть, Ницше был гений, но он не мог сделать чуда, не мог влить новую горячую кровь в изношенные жилы и огнем своей души не мог пережечь мелких лавочников в аристократов духа. Призыв к самозащите пал на бесплодную почву — мещанство живет чужим трудом и может бороться только чужими руками...

Раньше оно могло покупать людей на службу себе деньгами, позднее подкупало их обещаниями и всегда обманывало. Теперь, когда люди начали понимать свои личные интересы, их трудно обмануть. Люди все более резко делятся на два непримиримых лагеря — меньшинство, вооруженное всем, что только может защитить его, большинство, у которого только одно оружие — руки — и одно желание — равенство. Направо стоят бесстрастные, как машины, закованные в железо рабы капитала, они привыкли считать себя хозяевами жизни,

а на самом деле это безвольные слуги холодного, желтого дьявола, имя которому — золото. Налево все быстрее сливаются в необоримую дружину действительные хозяева всей жизни, единственная живая сила, все приводящая в движение, — рабочий народ... Сердце его горит уверенностью в победе, и он видит свое будущее — свободу...

Между этими двумя силами растерянно суетятся мещане — они видят: примирение невозможно, им стыдно идти направо, страшно — налево, а полоса, на которой они толкуются, становится все теснее, враги все ближе друг к другу, уже начинается бой...

Что делать мещанину? Он не герой, героическое непонятно ему, только иногда на сцене театра он любит героями, спокойно уверенный, что театральные герои не помешают ему жить. Он не чувствует будущего и, живя интересами данного момента, свое отношение к жизни определяет так:

*Не рассуждай, не хлопочи,
Безумство ищет, глупость судит,
Дневные раны сном лечи,
А завтра быть тому, что будет.
Живя — умей все пережить:
Печаль, и радость, и тревогу.
Чего желать? О чем тужить?
День пережит — и слава богу...*

Он любит жить, но впечатления переживает неглубоко, социальный трагизм недоступен его чувствам, только ужас пред своей смертью он может чувствовать глубоко и выражает его порой ярко и сильно. Мещанин всегда лирик, пафос совершенно недоступен мещанам, тут они точно прокляты проклятием бессилия...

Что им делать в битве жизни? И вот мы видим, как они тревожно и жалко прячутся от нее кто куда может — в темные уголки мистицизма, в красивенькие беседки эстетики, построенные ими на скорую руку из краденого материала; печально и безнадежно бродят в лабиринтах метафизики и снова возвращаются на узкие, засоренные хламом вековой лжи тропинки религии, всюду внося с собою клейкую пошлость, истерические стоны души, полной мелкого страха, свою бездарность, свое нахальство, и все, до чего они касаются, они осыпают градом красивеньких, но пустых и холодных слов, звенящих фальшиво и жалобно...

Эту скучную и тревожную суету мещанства наших дней, испуганного предчувствием своей гибели, последнюю главу его бесцветной истории можно назвать так:

«Мещане, кто во что горазд!»

II

Каждый, разумеется, видит все в жизни так,

как он хочет видеть, а кто ничего не хочет, видит только себя — скучное и жалкое зрелище!

Мещанин не способен видеть ничего, кроме отражений своей серой, мягкой и бессильной души.

Наиболее уродливые формы отношения мещанства к народу сложились в нашей нелепой стране. Вероятно, на земле нет другой страны, где бы командующие классы говорили и писали о народе так усердно и много, как у нас, и уж наверное ни одна литература в мире, кроме русской, не изображала свой народ так приторно-слащаво и не описывала его страданий с таким странным, подозрительным упоением.

Придавленный к земле тяжелым и грубым механизмом бездарно устроенной государственной машины, русский народ — скованный и ослепленный Самсон — воистину великий страдалец!

И, воистину, с молчаливым терпением титана долго держал он на плечах своих страшную тяжесть рабского, каторжного труда, зверских преступлений со стороны власти, сладострастного издевательства над его личностью помещиков и полиции, держал безропотно и лишь порой, встряхнув плечами, рвался к свободе, но — слепой — не находил пути к ней, и снова и еще крепче связывали его...

Когда человека пытаются, а он, полный презрения к палачам, мужественно молчит, — это

красиво, это вызывает восторженное уважение к мученику и, несомненно, является прекрасной темой для поэта...

Но когда русского мужика бьют по зубам, секут розгами, ломают ему ребра, а он, едва ли в чем-либо виновный, стонет: «Не буду!» — в этом мало человеческого и совсем нет красоты — это должно бы вызывать гнев и ненависть к силе, угнетающей народ, должно бы возбуждать страстное, упорное желание разрушить и перестроить мрачную, душную казарму, в которой задыхается родина.

Русская литература с печальным умилением смотрела, как тупая сила власти, разнужданной своей безнаказанностью, насилует русский народ, как она старательно отравляет суевериями этот вечный источник энергии, которой бесправно пользуются все, как истощается почва, дающая всем и хлеб и цветы, она смотрела на это преступление против жизни ее родины и лирически вздыхала:

*Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!*

Наша литература — сплошной гимн терпению русского человека, она вся пропитана тихим восторгом пред страдальцем мужичком и удивлением пред его нечеловеческой выносливостью.

«Где ты черпал эту силу?» — спрашивает она его, но народ был для нее натурой, с которой она красиво и сочно писала более или менее талантливые картины для удовлетворения своих творческих эмоций и эстетического вкуса мещан...

Соль истинной поэзии в изображениях мужика и его жизни, даже у крупных писателей, часто и странно смешивается с патокой грустного лиризма, а он всегда неуместен при описаниях жизни русской деревни, ибо по меньшей мере неприлично лирически вздыхать, когда на ваших глазах люди утопают в грязи и во тьме.

И всегда в отношениях русского писателя к своим героям-мужикам чувствуется нечто вроде удовольствия видеть их ничтожными, мягкими, добрыми и терпеливыми...

Положим — необходимо употребить солидные усилия для того, чтобы вывести из терпения русского мужика, но наше правительство — воздадим ему должное! — всегда успешно выполняло эту задачу; однако роскошное зеркало русской литературы почему-то не отразило вспышек народного гнева — ясных признаков его стремления к свободе. Она изображала нам Калиныча и Хоря, героя «Муму», Касьяна, Антона Горемыку, Платона Каратаева, дедушку Якова и Мазая, Акима во «Власти тьмы» и бесконечную вереницу иных мудрых, но косноязычных и немых людей. На ее глазах из сре-

ды народа выходили: Ломоносовы, Кольцовы, Никитины, Суриковы, но она не замечала их и забыла отметить в прошлом таких крупных выразителей народной воли, как Разин и другие. Она не искала героев, она любила рассказывать о людях сильных только в терпении, кротких, мягких, мечтающих о рае на небесах, безмолвно страдающих на земле. Все они терпеливо — непременно терпеливо, без гнева, без ропота! — несут на плечах своих гнетущие душу и тело невзгоды и позор рабской жизни. Милые люди! Они совершенно не способны к делу строительства жизни и кажутся созданными природой специально для мирной работы на господ. Такие славные божьи коровки — эти духовно чистенькие мужички, они так любовно мудры, полны такой готовностью страдать, что, право, удивляешься, как можно было таких людей-младенцев драть на конюшнях плетью, пороть розгами, продавать оптом и в розницу, как баранов, и вообще обращаться с ними... неделикатно?

Сознательно или бессознательно, но всегда настойчиво наша дворянская литература рисовала народ терпеливо равнодушным к порядкам его жизни, всегда занятым мечтами о боге и душе, полным желанием внутреннего мира, мещански недоверчивым ко всему новому, незлобивым до отвращения, готовым все и всем простить, курносый идеалист, кото-

рый еще долго и долго способен подчиняться всем, кому это нужно.

Мещанство читало красивые рассказы о смирном русском народе, искренно восхищалось его незлобивым терпением и, спокойно, крепко сидя на его хребте, дало ему лестный титул народа-богоносца.

Ко времени вынужденного народом освобождения его от крепостного права, и — кстати — от земли, в нашей стране, как это известно, образовался небольшой, но энергичный слой людей, сильных духом и внутренне свободных. Это была смелая вольница, «кто с борку, кто с сосенки» — неудачные дети духовенства, уроды из дворянских семей, блудные сыновья чиновников, только что рожденные фабрикой рабочие — все умные, здоровые, веселые работники, бодрые, как люди, проснувшиеся на рассвете ясного майского дня. Полные молодой жажды жизни красивой и свободной, они увидели перед собой жизнь, устроенную их отцами, и с презрением, с гордой насмешкой отвернулись от нее — тесной, скучной, нищенски бедной содержанием, формами и красками, нагло и грубо построенной на непосильном труде ограбленного, темного народа.

Вокруг них шумно суетилось встревоженное реформами мещанское общество, — ожиревшее, вырождающееся, уже духовно мертвое, оно судорожно корчилось, как гальванизирую-

ванный труп, и на пороге новой жизни тупо злилось, трусливо и злобно шипело, чувствуя, что на земле для него остались только могилы. Буйная молодость дерзко и весело пела отходную остаткам крепостного строя и зорко присматривалась, ища свое место в жизни.

А правительство, освободив народ, тотчас же усердно занялось разведением чиновников, ковкой звеньев новой цепи для народа. К разночинцам оно относилось подозрительно и враждебно, люди, которые не хотели быть чиновниками, были излишни и вредны для него. Было ясно — если интеллигент-разночинец хочет жить, он должен встать ближе к народу, опереться на него и увеличить свою дружину за его счет. Интеллигент понял это, пошел в народ сеять среди него «разумное, доброе, вечное»...

Разумеется, наше правительство не могло допустить на ниве народной никаких посевов, кроме тех, которые укрепляли бы легенду о неземном происхождении его власти. И вот началась беспримерная в истории эпическая борьба горсти смелых людей с чудовищем, которое похитило свободу и зорко, жадно стережет ее...

Эта битва была красива, как старый рыцарский роман, она родила много героев и пожрала их, как Сатурн своих детей. Герои погибли. Участь героев — всегда такова, и не будем оскорблять память героев сожалением о гибели их...

Это были стойкие, крепкие люди, но история поставила их между холодной наковальной и тяжелым молотом. Много они хотели поднять, много сдвинули с места и надорвались в усилиях разбудить народ — он до этой поры не видел ничего доброго от господ и не поверил им, когда они бескорыстно принесли ему ученье о свободе, равенстве, братстве.

Те, кому лгали столетия, не могли научиться верить в годы.

В эти дни, когда рыцари бились насмерть со змеем, — мещанство в стихах и прозе доказывало, что

*Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить;
У ней особенная стать,
В Россию можно только верить,*

что русский народ чрезвычайно самобытен и что греховная западная наука, развратные формы жизни Запада совершенно не годятся для него. Влияние Запада может только испортить, разрушить кроткую, мягкую душу и прочие редкие качества народа-богоносца, воспитанные в нем порками на конюшнях, сплошной неграмотностью и другими идеальными условиями русской самобытности.

В творениях мещан на эту тему есть много любопытного, но самое замечательное в них —

соединение таланта с какой-то истинно восточной ленью ума и татарской хитростью, которой мещане прикрывали эту лень мыслить смело и до конца яркопестрыми словами восторга пред народом. Немой, полуголодный, безграмотный народ, по уверению мещан, был призван обновить весь мир таинственной силой своей души, но для этого прежде всего требовалось отгородить его от мира высокой стеной самобытности, дабы не коснулся его свет и воздух с Запада. Он, еще недавно награда вельможам за придворные услуги, живой инвентарь помещичьих хозяйств, доходная статья, предмет торговли, вдруг стал любимой темой разговоров, объектом всяческих забот о его будущей судьбе, идолом, пред которым мещане шумно каялись во грехах своих. Растерянная, суетливая мещанская мысль, как летучая мышь над костром, завертелась вокруг народа в своих поисках оправдания и примирения.

Эта жалкая суета развращала порою лучшего поэта тех дней, и часто он, вступая в общий хор лицемерно кающихся, фальшиво вторил им:

*Успели мы всем насладиться
Что ж нам делать? Чего пожелать?
Пожелаем тому доброй ночи,
Кто все терпит во имя Христа,
Чьи не плачут суровые очи,*

*Чьи не ропщут немые уста,
Чьи работают грубые руки,
Предоставив почтительно нам
Погружаться в искусство, науки,
Предаваться мечтам и страстям.*

В этом, допустим, искреннем лирическом порыве сытого и несколько сконфуженного своей сытостью человека чувствуется немного иронии над собой, но — какая странная скудость фантазии! Неужели народу, усыпленному насильно, народу, сон которого ревниво оберегали тысячи верных слуг Левиафана-государства, неужели этому народу нельзя было пожелать ничего лучшего доброй ночи? В те дни, когда уже многие били в набат, стараясь разбудить его? В те дни, когда герои одиноко погибали в битвах за свободу?

Мещанам нравились подобные стихи, и они искренно, от всей души, желали милому народу — спокойной ночи. Что они могли пожелать ему, кроме этого? Это и гуманно, и дешево...

В это время — время борьбы — одни из них тревожно и угрюмо, как совы, кивали головами на Запад, где горел, не угасая, огонь свободы и в муках рождалась истина; они кричали, что оттуда льется отрава, которая погубит русский народ. Другие пристраивались в услужение к радикальным идеям, незаметно стараясь одеть их в уродующие одежды компромисса.

Третьи злобно в стихах и прозе клеветали на все, что было им враждебно — молодо, красиво, смело, — и во всем, что они делали, звучала их вечная тревога за свой покой — тревога нищих духом.

А в страну медленно входил железной стопой окутанный серыми тучами дыма и пара великий революционер, бесстрашный слуга желтого дьявола, жадного золота, — все разрушающий капитализм...

III

Толстой и Достоевский — два величайших гения, силою своих талантов они потрясли весь мир, они обратили на Россию изумленное внимание всей Европы, и оба встали как равные в великие ряды людей, чьи имена — Шекспир, Данте, Сервантес, Руссо и Гете. Но однажды они оказали плохую услугу своей темной, несчастной стране.

Это случилось как раз в то время, когда наши лучшие люди изнемогли и пали в борьбе за освобождение народа от произвола власти, а юные силы, готовые идти на смену павшим, остановились в смятении и страхе пред виселицами, каторгой и зловещей немотой загадочно неподвижного народа, молча, как земля, поглотившего кровь, пролитую в битвах за его свободу. Мещане, напуганные взрывами рево-

люционной борьбы, изнывали в жажде покоя и порядка, готовые подчиниться победителю, предать побежденного и получить за предательство хоть маленький, но всегда лакомый для них кусок власти...

В это печальное время духовные вожди общества должны бы сказать разумным и честным силам его:

«Нищета и невежество народа — вот источник всех несчастий нашей жизни, вот трагедия, в которой мы не должны быть пассивными зрителями, потому что рано или поздно сила вещей заставит всех нас играть в этой трагедии страдающие и ответственные роли. Для государства мы — кирпичи, оно строит из нас стены и башни, укрепляющие злую власть его. Искусно отделяя народ от нас, оно делает всех бессильными в борьбе с его бездушным механизмом. Никто разумный не может быть спокоен, доколе народ — раб и слепой зверь, ибо — он прозреет, освободится и отомстит за насилие над ним и невнимание к нему. Не может быть красивой жизни, когда вокруг нас так много нищих и рабов. Государство убивает человека, чтобы воскресить в нем животное и силою животного укрепить свою власть; оно борется против разума, всегда враждебного насилию. Благо страны — в свободе народа, только его сила может победить темную силу государства. Поймите — нет иной страны, где

бы люди чести, люди разума были так одиноки, как у нас. Боритесь же за торжество свободы и справедливости, в этом торжестве — красота. Да будет ваша жизнь героической поэмой!..»

— Терпи! — сказал русскому обществу Достоевский своей речью на открытии памятника Пушкину.

— Самосовершенствуйся! — сказал Толстой и добавил: — Не противься злу насилием!..

...Есть что-то подавляюще уродливое и постыдное, есть что-то близкое злой насмешке в этой проповеди терпения и непротivления злу. Ведь два мировых гения жили в стране, где насилие над людьми уже достигло размеров, поражающих своим сладострастным цинизмом. Произвол власти, опьяненный безнаказанностью, сделал всю страну мрачным застенком, где слуги власти, от губернатора до урядника, нагло грабили и истязали миллионы людей, издеваясь над ними, точно кошка над пойманной мышью.

И этим замученным людям говорили:

— Не противьтесь злу! Терпите!

И красиво воспевали их терпение. Этот тяжелый пример наиболее ярко освещает истинный характер отношения русской литературы к народу. Вся наша литература — настойчивое учение о пассивном отношении к жизни, апология пассивности. И это естественно.

Иной не может быть литература мещан, даже и тогда, когда мещанин-художник гениален.

Одно из свойств мещанской души — раболепие, рабье преклонение перед авторитетами. Если некто однажды подал мещанину от щедрот своих милостыню внимания — мещанин делает благодетеля кумиром и кланяется ему, точно нищий лавочнику. Но это только до поры, покуда кумир живет в гармонии с мещанскими требованиями, а если он начнет противоречить им, — что бывает крайне редко, — его сбрасывают с пьедестала, как мертвую ворону с крыши. Вот почему писатель-мещанин всегда более или менее лакей своего читателя — человеку приятно быть идиолом.

Ожидаю, что идолопоклонники закричат мне:

«Как? Толстой? Достоевский?»

Я не занимаюсь критикой произведений этих великих художников, я только открываю мещан. Я не знаю более злых врагов жизни, чем они. Они хотят примирить с мучителями мученика и хотят оправдать себя за близость к мучителям, за бесстрашие свое к страданиям мира. Они учат мучеников терпению, они убеждают их не противиться насилию, они всегда ищут доказательств невозможности изменить порядок отношений имущего к неимущему, они обещают народу вознаграждение за труд и муки

на небесах и, любуясь его невыносимо тяжелой жизнью на земле, сосут его живые соки, как тля. Большая часть их служит насилию прямо, меньшая — косвенно — проповедью терпения, примирения, прощения, оправдания...

Это — преступная работа, она задерживает правильное развитие процесса, который должен освободить людей из неволи заблуждений, она тем более преступна, что совершается из мотивов личного удобства. Мещанин любит иметь удобную обстановку в своей душе. Когда в душе его все разложено прилично — душа мещанина спокойна. Он — индивидуалист, это так же верно, как нет козла без запаха.

В древности еврейский мудрец Гиллель дал человеку удивительно простую и ясную формулу индивидуального и социального поведения.

«Если я не за себя, — сказал он, — то кто же за меня? Но если я только за себя — зачем я?»

Мещанин охотно принимает первую половину формулы и не может вместить другой.

Есть два типа индивидуализма: индивидуализм мещанский и героический.

Первый ставит «я» в центре мира — нечто удивительно противное, напыщенное и нищенское. Подумайте, как это красиво — в центре мира стоит жирный человечек с брюшком, любитель устриц, женщин, хороших стихов, сигар, музыки, человек, поглощающий все блага жизни, как бездонный мешок. Всегда несытый,

всегда трусливый, он способен возвести свою зубную боль на степень мирового события, «я» для этого паразита — все!

Второй говорит: «Мир во мне; я все вмещаю в душе моей, все ужасы и недоумения, всю боль и радость жизни, всю пестроту и хаос ее радужной игры. Мир — это народ. Человек — клетка моего организма. Если его бьют — мне больно, если его оскорбляют — я в гневе, я хочу мести. Я не могу допустить примирения между поработителем и поработленным. Противоречия жизни должны быть свободно развиты до конца, дабы из трения их вспыхнула истинная свобода и красота, животворящая, как солнце. Великое, неисчерпаемое горе мира, погрязшего во лжи, во тьме, в насилии, обмане, — мое личное горе. Я есть человек, нет ничего, кроме меня».

Это миропонимание, утонченное и развитое до красоты и глубины, которой мы себе представить не можем, вероятно, и будет миропониманием рабочего, истинного и единственно законного хозяина жизни, ибо строит ее он. Это миропонимание в русской литературе не отражалось. Она вообще не могла создать героя, ибо героизм видела в пассивности, и если пыталась изобразить активного человека — это выходило бескровно и бесцветно даже у такого красивого и крупного таланта, как Тургенев. Только яркий и огромный Помяловский глубо-

ко чувствовал враждебную жизни силу мещанства, умел беспощадно правдиво изобразить ее и мог бы дать живой тип героя, да Слепцов, устами Рязанова, зло и метко посмеялся над мещанином...

Восьмидесятые годы были временем полного торжества мещан, и, как всегда, они торжествовали злобно, но скучно и бесцветно. Со слезами восторга прослушали речь Достоевского, и она успокоила их. Терпение ни к чему не обязывало мещан, но его можно было рекомендовать народу. Они, конечно, спокойно сложили бы бессильные, хоть и жадные, руки, но совесть — эта накожная болезнь мещанской души — настойчиво указывала на необходимость вооружения народа оружием грамоты, и некая небольшая часть их видела свое одиночество в стране, где так мало грамотных людей, которые могли бы играть для мещан роли слушателей, собеседников, читателей, потребителей газет, книг и прочих продуктов высшей деятельности мещанского духа. Мещанин любит философствовать, как лентяй удить рыбу, он любит поговорить и пописать об основных проблемах бытия — занятие, видимо, не налагающее никаких обязанностей к народу и как нельзя более уместное в стране, где десятки миллионов человекоподобных существ в пьяном виде бьют женщин пинками в животы и с удовольствием таскают их за косы, где вечно

голодают, где целые деревни гниют в сифилисе, горят, ходят — в виде развлечения — в бой на кулачки друг с другом, при случае опиваются водкой и во всем своем быте обнаруживают какую-то своеобразную юность, которая делает их похожими на первобытных дикарей... Итак — мещане все-таки поняли необходимость увеличить свою армию и взялись за дело.

Раздался успокаивающий и довольный крик — истинно мещанский пароль: «Наше время — не время широких задач!»

И наскоро создали пошлый культ «мелких дел» — воистину мещанский культ. Какая масса лицемерия была вложена в этот культ и сколько было в нем самообожания! Другая группа мещанства — быть может, более искренняя в своем желании оправдать печальный и постыдный факт своего бытия — пошла на зов Толстого. Началось «самосовершенствование», этот жалкий водевиль с переодеванием. В стране, где люди еще настолько не разумны, что пашут землю деревянной сохой, боятся колдунов, верят в чорта, — в этой грустной и бедной стране грамотные люди, юродствуя идеи ради, стали отрицать разум. Подвергли науку наивной и убогой критике. Отрицали искусство, отрицали красоту, одевались в крестьянское платье и неумелыми руками ковыряли бесплодную землю, всячески стараясь приблизиться к дикарю и называя это само-

истязание «опрощением». Дикий, но совсем не глупый мужик смотрел на чудаков и пренебрежительно усмехался, не понимая мотивов странного и смешного поведения господ. Иногда, раздраженный своей тяжелой жизнью, выпивший водки, мужик обижал опрощенных, но они «не противились злу» и этим вызывали к себе искреннее презрение мужика.

Так вело себя мещанство совестливое, а масса его — жадная и наглая — открыто торжествовала победу грубой силы над честью и разумом, цинично добивая раненых. Она создала из клеветы, грязи и лицемерной угодливости победителю некий форт для защиты своего положения в жизни, в него засели довольно талантливые языкоблуды, навербованные по преимуществу из ренегатов, и дружно принялись заливать клеветой и ложью все, что еще горело в русской жизни.

Погибли «Отечественные записки», и один из ренегатов проводил их в могилу гаденькой усмешкой:

— Пела-пела пташечка, да замолкла. Отчего ж ты, пташечка, приуныла?

Эти потомки крови Иуды Искарриота, Игнатия Лойолы и других хриstopродавцев, охваченные болезненной жаждой известности, но слишком ничтожные для того, чтобы создать нечто крупное, скоро почувствовали свое бессилие быть вождями и сделались растлителями

мещанства. Открыто брызгая пахучей слюной больных верблюдов на все мало-мальски порядочное в русской жизни, они более четверти века развращали людей проповедью ненависти к инородцам, лакейской услужливости силе, проповедью лжи, обмана, — и нет числа преступлениям их, нет меры злу, содеянному ими. Малограмотные и невежественные, они судили обо всем всегда «применительно к подлости», всегда с желчью неудачников на языке. Некоторые из этих желчных честолюбцев еще и теперь старчески ползают по страницам своей газеты, но это уже змеи, потерявшие яд. Безвредные гады, они вызывают только чувство отвращения к ним своими бессильными попытками сказать еще что-нибудь гнусное и развратное, еще раз подстрекнуть кого-то на преступление...

Но все это известно, и обо всем этом так же противно и стыдно говорить, как о насилии над женщиной, как о растлении ребенка, и хочется поскорее подойти к поведению мещанства сегодня, в наши трагические дни...

Однако справедливость побуждает указать, что наиболее жизнеспособные мещане шли и в революцию. Они понимали, что толкуются в тесных развалинах старой тюрьмы, выстроенной подневольным трудом, у них не было определенной позиции в темном хаосе русской жизни, жизнь их была бесцветна и скучна.

И они пошли в революцию охотно, но — как спортсмены-англичане ездят из Лондона на Каспий бить диких уток. Со временем мы увидим этих господ среди работников революции, где они, вместе с госпожами Кукшиными, производят неприятный шум, вредную суету и путаницу, увидим, как они, органически с народом не связанные, чуждые ему, капризные в своих настроениях, быстро, как фокусники, меняли свои взгляды, вызывая этим тяжелые недоумения в головах своих учеников и отрицательное, враждебное отношение у рабочих к представителям пролетарской интеллигенции.

Рядом со всеми этими попытками маленьких, трусливых людей уклониться от суровых требований действительности в тихую область мечтаний или удобно встать где-либо с краю жизни в качестве зрителя, наблюдающего ее драмы, рядом с иезуитской суетой мещанства — бесстрастно шла железная работа капитала, математически правильно сортировавшего людей на две резко враждебные группы, а в красных корпусах фабрик и заводов, под гулкий шум машин, воспитывалась новая, могучая, истинно жизненная сила, та сила, которой ныне все мещане обязаны своим освобождением из тесной клетки государства и для которой они готовы создать другую клетку, попрочнее той, где они сами сидели. Мещанин в политике ведет себя, как вор на пожаре, — украл перину,

снес ее домой и вновь явился на пожар гасить огонь, который он же сам тихонько раздувал из-за угла...

IV

В ту пору, когда мягкосердечные мещане осторожно пытались пронести во тьму народной жизни, мимо глаз стоокого цербера-государства, тускло горевшие светильники своих добрых намерений, в то время, когда ренегаты, опьяненные мстительной злобой, цинично плясали разнузданный танец торжества своего над могилами павших героев, а мещане, безразличные, наслаждались покоем и крепким порядком в серой мгле все победившей пошлости, — в эту пору государство снова хлопотливо стягивало грудь народа железными обручами рабства...

Дряхлый демон России, прокурор церкви Христовой, слуга насилия и апологет его, сладострастными руками фанатика вцепился в горло страны, и душил ее, и в безумии восторга кричал:

— Велико и свято значение власти! Она служит для всех зеркалом правды, достоинства, энергии!

И вводил церковные школы в дополнение к земским начальникам.

Это было нагло, но многие находили, что это

сильно и талантливо, — иногда цинизм выгоден мещанам, они находят его красивым.

Власть, подобно Цирцее, превращает человека в животное. Стремление к власти свойственно только людям ограниченным, только тем, кто не способен понять красоту и великую мудрость внутренней свободы, той свободы, которая не способна подчиняться и не хочет подчиняться. Властные люди вообще — тупы, а когда они могут действовать безнаказанно, в них просыпается атавистическое чувство предка-раба, и они как бы мстят за его страдания, но мстят не тем, кто заставляет страдать, а тем бесправным людям, которые отданы государством под власть его представителей, — а так как Россия слишком долго была страной рабов — в ней представители власти более, чем где-либо, разнузданны и жестоки...

Когда люди, незадолго пред этим чувствовавшие, что кто-то энергично вырывает власть из их рук, снова увидели себя владыками, — они бросились на страну, как звери, и ненасытно стали сосать кровь ее покорных людей, они вцепились жадными когтями в ее огромное неуклюжее тело и грабили, истязали, душили людей, как варвары-завоеватели, истощали ее, как бациллы гноя зараженный организм. Это было время буйного торжества животных, тем более злых, что еще недавно они трепетали от страха.

Страна, казалось, скоро задохнется.

Но, сгибаясь под тяжестью насилия, ослепленный невежеством, ленивый с отчаяния, народ жил и молча наблюдал. Тяжелая жизнь выработала в нем нечеловеческую выносливость, изумительную способность пассивного сопротивления, и под гнетом злой силы государства он жил, как медведь на цепи, молчаливой, сосредоточенной жизнью пленника, не забывая о свободе, но не видя дороги к ней.

Народ по природе сильный и предприимчивый, он долго ничего не мог сделать своими крепкими руками, туго связанными бесправием; неглупый, он был духовно бессилён, ибо мозг его своевременно задавили темным хламом суеверия; смелый, он двигался медленно и безнадежно, ибо не верил в возможность вырваться из плена; невежественный, он был тупо недоверчив ко всему новому и не принимал участия в жизни, подозрительно косясь на всех.

И во что он мог верить? Все новое приходило к нему со стороны барина, давнего врага, и всегда в этом новом он должен был чувствовать нечто не для него, но против него. Когда он немного выучился грамоте и стал читать маленькие книжки, он чувствовал в них всегда одно: настойчивое желание господ видеть его добрым, трезвым, мягким.

«Все люди — братья, все равны!» — доказывали ему авторы книжек.

А вокруг него стояли исправники, земские начальники, становые, урядники — ели его хлеб, брали с него подати, секли его розгами, а за чтение книжек сначала просто били по зубам, а потом даже начали сажать в тюрьму.

«Не в силе бог, а в правде!» — утешали его добрые господа, а он от применения к его спине силы по неделям сесть не мог.

«Надо любить ближнего, как самого себя!» — убедительно, и даже порой красиво, поучали его люди из города, а их отцы и братья в деревнях старались возможно дешевле купить его труд и просили начальство сочинить построже законы о найме сельскохозяйственных рабочих.

«Не бей свою жену, ибо она хотя и женщина, но тоже человек, учи детей грамоте, ибо „знание — радость, знание — свет“, не пей водку — она разрушает организм, — и не воруй!» — говорилось в книжках.

Мужик читал это и видел: господа спокойно берут его жену на должность коровы — кормить ее молоком своих детей, его жена беременная моет за гривенник полы в усадьбе, дочь его при первом же удобном случае развращают, и вообще к жителям деревни господа относятся менее внимательно и бережливо, чем, например, к своим лошадям, собакам и другим домашним животным. Он видел, что господам действительно очень полезна грамота, но школа, устроенная ими для его детей,

ничего хорошего не дает им, а только отбивает от работы. И видел, что господа, поучая его не пить водку, сами с большим наслаждением разрушают свои организмы и водкой, и вином, и обжорством, и развратом. И видел, что его кругом обокрали.

«Не будь жаден!» — говорили ему и все повышали аренду на землю, все понижали плату за труд.

Книжки резко противоречили всему складу мужицкой жизни, и поступки господ тоже противоречили морали книжек, написанных ими. В самом факте появления какой-то особенной литературы, нарочито сочиняемой «для народа», уже есть нечто подозрительное, как и вообще во всех действиях мещан, направленных к торжеству «общего блага».

Мещане — повторяю — во что бы то ни стало хотят жить в мире со всем миром, спокойно пользуясь плодами чужого труда и всячески стараясь сохранить то равновесие души, которое они называют счастьем.

Что же кроме лжи и лицемерия можно внести в «общее благо», обладая такой психологией? И это «общее благо», как его представляют себе мещане, — огромное, топкое болото, оно покрыто густой плесенью добрых намерений, над ним вечно стоит серый, мертвый туман лживых слов, а на дне его — задавленные люди, живые люди, обращенные в орудия обогаще-

ния мещан. Это «общее благо» пахнет кровью и потом обманутых, поработанных людей.

Жизнь ставит дело просто и ясно: общее благо невозможно, пока существует хозяин и работник, подчиненный и командующий, имущий и неимущий.

Или все люди — несмотря на яркое различие их душ — товарищи, политически и экономически равные друг другу, или вся жизнь — отвратительное преступление, гадкая трагедия извращенности, процесс, не имеющий оправдания...

Сколько ни кропи море духами, оно все-таки даст запах соли, и, конечно, немного бы сделали хорошие мещанские книжки, если бы они учили только добродетелям, выгодным для мещан, и если бы кроме книжек не было других влияний, способных своей силой возбудить мысль даже в камне.

По степям, мимо деревень, как гигантские железные черви, рассыпая огненные искры, с торжествующим грохотом поползли локомотивы и вагоны, пожирая хлеб мужика. Около деревень хмуро встали красные стены заводов и фабрик, угрожающе поднялись в небеса огромные трубы, черный дым кощунственно летел к жилищу бога, не боясь его гнева. В барских усадьбах явились машины, они сеяли, жали, косили, отнимая стальными руками работу у человека, и человек, чтобы не уме-

реть с голоду, шел с поля в широко открытую жаркую пасть фабрики. Там вокруг него хлопотливо, шумно, правильно вертелись колеса, двигались поршни, зловеще гудело железо, и все, все плоды земли, все рожденное ею — камень, дерево и сама она, — все превращалось в золото и уходило куда-то далеко прочь от человека, оставляя его, истомленного, усталого, с одним куском хлеба и без копейки на старость.

Рев плавильных печей, визг станков, глухие удары молота, сотрясавшие землю, бесконечное движение ремней и всюду ярко пылающий красивый, веселый огонь — все это было грандиозно, страшно, подавляло человека своей лихорадочной жизнью и невольно возбуждало в нем острый, разрушительный вопрос: «Зачем так? Для кого?»

И он начинал понемногу догадываться, что весь этот механически правильно, но бессмысленно действующий ад создан и приведен в движение ненасытной жадностью тех людей, которые захватили в свои руки власть над всей землей и над человеком и все хотят развить, укрепить эту власть силою золота. Они обезумели от жадности, сами стали глупыми и жалкими рабами своих фабрик и машин, своих векселей и золота, зарвались, запутались в сетях дьявола наживы, как мухи в паутине, и уже не отдают себе отчета — зачем все это им? — и не видят, отупевшие, не могут ви-

деть возможности жить иначе — иной жизнью, красивой, свободной, разумной. Они плывут безвольно, как утопленники, в отвратительном потоке бессмысленной и противной суеты, окутанные едким дымом и запахом человеческого пота, окруженные жадным лязгом железа и стонами людей, которые служат при железе для того, чтобы увеличить золото в карманах мещан — золото, умертвившее душу мещанина, — золото — металлического бога ограниченных и жалких людей.

Человек увидел и понял, что его руки создают все, а он не имеет ничего, кроме нищенского права съесть столько хлеба, сколько нужно, чтобы снова работать и наконец, создав в течение жизни неисчислимое количество богатств, издохнуть с голоду. Человек задумался, потрясенный очевидностью. Кто он, создающий так много лишнего и не имеющий необходимого? Хозяин жизни или раб ее?

Человек работал на фабрике и видел, как из бесформенных кусков руды его труд создает машины и ружья, как бессильные, тонкие, робко дрожащие нити соединяются в плотную, крепкую ткань и веревки, — человек протестовал против жадности капитала и видел, что из ружей, им же сделанных, убивают его товарищей, что из веревок делают петли для его друзей.

Всюду вокруг ярко смеялся над ним красный,

злобно-веселый могучий огонь и возбуждал к жизни необоримую силу человека, мысль его. Капитал, раздевая его тело, превращал человека из раба — хозяина кусочка бесплодной земли — в свободного нищего, из пассивного страдальца, поражавшего мир терпением, в пылкого, упорного борца за свое право быть человеком, а не доходной статьёй мещан.

И он начал свою великую борьбу.

Жестокость богатства так же очевидна, как и глупая жадность его. Неразборчивый, как свинья, капитал пожирает все, что видит, но нельзя съесть больше того, сколько можешь, и однажды он должен пожрать сам себя — эта трагикомедия лежит в основе его механики. Сила капитала — механическая грубая сила; этот ком золота, точно ком снега, брошенный под гору, вовлекая в себя всякую дрянь, увеличивается в объеме от движения, но само движение слепо, безвольно и не может иметь оправдания, когда оно давит и уничтожает миллионы людей...

По пути к самоуничтожению капитал, развиваясь, захватывает на служение своим интересам и государство, оно растворяется в нем, теряет свой животно-самодовлеющий характер власти ради власти, и короли ныне покорно служат интересам фабрикантов и лавочников. Капитал похож на чуму, которая одинаково равнодушно убивает водовоза и губернатора,

священника и музыканта. И, как чума, сам по себе он не нуждается в оправдании бессмысленности своего роста — механически правильно сортируя людей на классы, независимо от своей воли развивая их сознание, он сам создает себе непримиримых врагов, раздражая человека своей жадностью, как дурак раздражает быка красным. Зло жизни, он не стесняется своей ролью, он цинично откровенен в своих действиях и, нагло говоря грохотом машин: «Все мое!», — равнодушно развращает людей, искажает жизнь. Такой он есть, он не может быть иным, и это хорошо, потому что просто, всем понятно и очень быстро создает в душе представителя труда резко отрицательное, непримиримо враждебное отношение к представителю капитала.

Но для мещан капитал — идол, сила и необоримая власть, и они раболепно служат ему, довольные теми объедками, которые пресыщенное животное бросает им под стол, как собакам. Они не обижаются на это — чувство человеческого достоинства не развито у мещан, — ослепленные блеском золота, они служат господину не только из страха перед силой его, но, уважая силу, и не только служат, что естественно, ибо и мещанин любит есть много и вкусно, но подслуживаются, что уже противно. Мещане всегда моралисты, и вот, сознавая моральную наготу своего ку-

мира, смутно чувствуя преступность его бытия, они пытаются подложить смягчающие вину философские основания под этот процесс насилия, истязания и убийства миллионов людей ради накопления золота в карманах десятков. И, доказывая право капитала грабить, убивать, они думают скрыть факт своего соучастия в грабежах и убийствах.

«Иначе — нельзя!» — говорят они.

«Можно!» — отвечают им социалисты.

«Ах, это мечта!» — возражают мещане и снова жутьничают, всюду выискивая доводы, способные подтвердить вечную необходимость деления людей на богатых и бедных и неизбежность такого порядка, одинаково унижающего и рабочего, и капиталиста, и самих мещан.

Эти жалкие попытки трусливых холопов остановить колесницу истории горами лживых слов, брошенных по пути ее движения, иногда действительно замедляют ход жизни, затемняя и запутывая медленно растущее в массе народа сознание своего права, и вот почему нужно всегда помнить, как свое имя, что истинный враг жизни не капитал — стихийная, глупая, безвольная сила, — а холопы его, почтенные мещане, желающие в интересах своего личного счастья доказать массам народа невозможность иного порядка жизни, примирить рабочего с его ролью доходной статьи для хозяина и оправдать жизнь, построенную

на порабощении большинства меньшинством...

Роль примирителя — двойственная роль, и мещанин — вечный пленник внутреннего раздвоения. Все, что он когда-либо выдумал, носит в себе непримиримые и подлые противоречия. Он в одно время дает человеку бутылку водки и книжку о вреде алкоголя, взяв с того и другого товара известный процент в свою пользу. Он говорит о необходимости строить тюрьмы гуманно. Признавая женщину всячески равной мужчине, он из соображений «реальной политики» — то есть политики скорейшего и во что бы то ни стало установления твердого порядка — лишает ее права голоса, несмотря на то что его супруга, вероятно, не менее, чем он, жаждет торжества порядка и равновесия души. Он готов приять в свои объятия свободу, но обязательно в качестве законной супруги, дабы «в пределах законности» насиловать ее, как ему угодно. Он обладает, как все паразиты, изумительной способностью приспособления, но никогда не приспосабливается к истине. Он способен видеть и принять только правду факта, и ему чужда и непонятна правда человеческого стремления к творчеству фактов.

Всего ярче открывается его пестрая, искаженная холопством пред силой, отравленная неустанной жаждой покоя и довольства, маленькая, скучно честолюбивая, липкая душа в эпохи народного возбуждения, когда он, се-

рый, суетливый и жадный, жутко мечется между черным представителем гнета и красным борцом за свободу, стараясь скорее понять — кто из этих двух победит? Где сильнейший, на чью сторону он мог бы скорее встать, дабы водворить порядок в жизни, установить равновесие в душе своей и урвать курок власти?

Жалкое существо, и, если б оно не было так вредно, о нем не следовало бы говорить, но о нем необходимо говорить больше всего, как это ни противно.

Мещане — лилипуты, народ — Гулливер, но если его запутать всеми нитками лжи и обмана, которые находятся в руках этого племени, он должен будет потратить лишнее время для того, чтобы порвать эти нитки.

Наши дни не только дни борьбы, но и дни суда, не только дни слияния всех работников правды, свободы и чести в одну дружину непобедимых, но и дни разъединения со всеми, кто еще недавно шел в тылу армии пролетариата, а теперь, когда она одержала победу, выбегает вперед и кричит: «Это мы победили! Мы — представители народа! Пожалуйста, давайте нам место, где бы мы могли сесть, чтобы торговаться с вами. Мы продаем русский рабочий народ — сколько дадите?»

Они, вероятно, скоро продадут, потому что просят дешево...

(1905)

По поводу

Мне присланы разными лицами несколько писем — все они написаны в истерическом, воющем тоне, со страниц их брызжет темный, жуткий страх. Ясно чувствуешь — те, кто писал, переживают тяжелые дни и часы, видишь, что много мучительно острых мыслей режет их сердце, пугает их сон.

«...Что случилось с этим добрым русским народом, почему он вдруг стал кровожадным зверем?» — спрашивает дама, приславшая письмо на дорогой, пропитанной духами бумаге.

«Забыв Христос и его учение, поругана проповедь любви, нет уважения к человеку...» — мрачно сообщает «дворянин Ф.» из Сум. И осведомляется: «Вы довольны?»

«Где же плоды проповеди любви к ближнему, где влияние школы и церкви? — спрашивает Х. Бровцын из Тамбова. — Одни ругаются и грозят смертью, другие только жалуется и вопят, все взволнованы, всем тяжело

и больно, всем жутко жить в эти великие трагические дни».

Я не могу отвечать каждому порознь и отвечаю всем сразу.

Наступили дни возмездия, господа, дни расплаты за ваше преступное невнимание к жизни народа. Все, что вы чувствуете, все, что вас мучает, — вы заслужили. И я могу только одно сказать вам, одного пожелать — чтобы еще глубже, еще с большей силой вы впитали, поняли, пережили весь ужас этой жизни, созданной вами. Пусть сердца ваши дышат страхом, пусть кошмары давят ваш сон, пусть все безумное и жестокое, что творится в вашей стране, жжет вас, как огонь, — вы стоите этого. Это или погубит вас, или — быть может — очистит от грязи и пошлости все честное и здоровое, что осталось в душе вашей, которую вы так мало берегли, наполняя ее жадностью, властолюбием, ложью и всяческой скверной.

Сударыня! Вы хотите знать, что случилось с народом? У него лопнуло терпение. Он долго молчал, долго неподвижно подчинялся насилью, он терпеливо держал всю вашу жизнь на своей спине раба, и вот — больше не может! Он сбросил еще далеко не всю тяжесть, насильно возложенную на него, — вы рано испугались, сударыня!

И почему бы — давайте говорить откровенно — почему не быть ему зверем? Что сделали вы

для того, чтобы он не был таким? Вы чему-нибудь разумному научили его, что-нибудь доброе посеяли в душе его?

Вы всю жизнь только брали его труд, его последний кусок хлеба, брали легко и просто, не понимая, что вы берете; вы жили, не спрашивая себя, чем, чьею силой вы живы. Вы дразнили голодного и нищего богатством ваших нарядов, когда жили на даче, около мужиков, вы смотрели на них как на людей низшей расы. Они все это понимали. Они довольно чуткие люди и не очень уж злые, но вот вы разозлили их наконец. Это ведь очень просто: пируя на глазах нищих, нельзя ожидать от них благодарности; ваше пение, ваша музыка не могли облагородить голодного, ваше снисходительно-брезгливое отношение к мужику не могло воспитать в душе его уважения к вам. Что вы сделали для него? Вы позаботились о том, чтобы он был мягче сердцем? Вы ожесточали его. Вы хотели, чтобы он был умнее? Вы не думали об этом. Мужик был для вас рабочее животное, иногда вы забавлялись им, как дикарем, вы никогда не смотрели на него как на человека, что же удивительного, что он зверь для вас?

Сударыня! В вашем вопросе не только ваше незнание жизни, в нем есть и лицемерие грешника, который уже чувствует, что согрешил, но еще не хочет искренно покаяться.

Вы знали, вы не могли не видеть, как жи-

вет мужик. Человек, которого бьют, рано или поздно даст сдачи; человек, которого не жалеют, не может жалеть — это ясно. Хуже — это справедливо. Поймите меня — ужас не в том, что бьют, а в том, что не могут не бить, не в том ужас, что не жалеют, а в том, что не могут жалеть.

Как можете вы искать жалости в сердце, где вами посеяна месть?

Сударыня! В Киеве добрый русский народ выкинул из окон дома Бродского вместе с мебелью гувернантку и бережно сохранил канарейку в клетке. Подумайте над этим — маленькая желтая птица вызвала что-то вроде сострадания к себе, а человек был выкинут из окна. Сострадание, видимо, есть, но человек, должно быть, не заслужил его — вот где ужас и трагедия. Сударыня! Уверены ли вы в своем праве требовать, чтобы с вами обращались как с человеком, если вы сами всю жизнь относились к человеку без жалости, без сострадания, не признавая в нем равного себе?

Вы пишете письма, вы грамотны; вероятно, вы читали книги, изображающие жизнь мужика? Чего вы хотите от него для себя, если, зная, как он живет, вы не могли изменить его жизнь к лучшему? И вот он изменил вашу жизнь к худшему, заставив вас дрожащей от страха рукой писать полные отчаяния письма к человеку, который — вы бы должны это знать —

не захочет рассеять ваш страх, не захочет утешать вас, нет!

Возмездие естественно. Мы живем в стране, где людей до сего дня секут, хлещут нагайками, забивают палками до смерти, где ломают ребра, бьют по лицу ради забавы, где нет предела насилиям над людьми, где формы мучений разнообразны до отвращения, до безумного стыда. Народ, воспитанный в школе, так похожей на лубочное изображение адских мук, народ, воспитанный кулаками, розгами и нагайками, не может быть мягкосердечен. Человек, которого в участке топтали ногами, становится способен топтать ногами подобного себе. В стране, где так долго царило бесправие, трудно народу сразу признать силу права, невозможно требовать справедливости от него, незнакомого с нею. Это надо понять, это так же просто, как жестоко. Все естественно там, где обществом и вами, сударыня, допускались без протеста все ужасы насилия над людьми. Люди теперь глубже чувствуют, и косой взгляд, брошенный вами сегодня на вашу горничную, равен пощечине, которую давал ваш отец своему лакею пятьдесят лет тому назад. Люди растут, и растет в них чувство достоинства, но с ними обращаются все еще как с рабами, и животное не исчезает в них.

Сударыня! Не требуйте от людей того, чего вы им не давали. Вы не имеете права на состра-

дание, ибо вам оно неведомо. Народ мучили и мучают все, кто имел и имеет один золотник власти над ним. Теперь, когда наше бездарное правительство довело страну до анархии, все ее темные силы почувствовали призрачность той власти, которая давила их века, и вот они поднялись, встали и мстят всем за все, что вытерпели в долгую ночь бесправия.

Но есть в стране другая, светлая сила, озаренная великой мыслью, охваченная яркой мечтой о царстве справедливости, свободы, красоты... А впрочем, сударыня, тому, кто родился слепым, я не могу передать на словах красоту и величие моря...

Люди, которые говорят и пишут о любви к ближнему, всегда были глубоко противны мне, как лицемеры и лгуны, — я слишком хорошо знаю жизнь, для того чтобы верить им.

Эх, господа! Имейте мужество быть правдивыми! Ведь все так ясно, так понятно.

Когда вы говорите о любви, вы вашей сладкой речью хотите только заговорить зубы ваших ближних, оскаленные голодом и злобой, вам кажется, что, смягчив любовью сердца озлобленных и угнетенных вами, вы можете ослабить силу их справедливой мести. Вы лицемерите, когда зовете братьями людей, которых вы поработили, вы лжете, проповедуя любовь тем людям, в сердцах которых вы сами же посеяли зависть, ненависть и злобу.

Вы искренни, конечно, когда советуете ближним вашим: любите нас. Но вы скрываете за этими словами другие, более правдивые слова: несите терпеливо, не возмущаясь, без ропота тяжелый гнет труда, унижения, нищеты, возложенной нами на ваши спины. Но вы все нагло лжете, когда говорите своим рабам: мы тоже любим вас.

Рабов — нельзя любить! Их можно только презирать или бояться.

И вот вы учитесь рабов любви из страха перед ними.

Евангелие? Его страницы давно захватаны грязными руками насильников, правда его стерта лицемерами, но вы и за него хватаетесь как за оружие для защиты своей от прилива справедливости, облеченной в такие жестокие формы вашей ложью, вашим лицемерием.

В сердцах у вас нет любви, там тесно улеглись три стооких жабы, ревниво охраняющие дремотный ваш покой и равновесие души от вторжения жестокой правды жизни и творческого чувства, в сердцах у вас три цербера — Жадность, Пошлость, Ложь.

И нет у вас уважения к человеку — как можете вы уважать другого, когда не уважаете себя?

Я не оправдываю жестокости, которую вы сами сделали законом жизни, я только говорю, что в стране, где все вы так долго допуска-

ли произвол и насилие, — в этой несчастной
стране среди вас нет правых, нет достойных
сострадания...

(1905)

О цинизме

...Темп жизни мира становится быстрее, ибо все глубже в тайные недра ее проникает могучая тревога весеннего пробуждения, всюду ясно чувствуется мятежный трепет — потенциальная энергия сознает свою творческую мощь и готовится к деянию.

Медленно, но неуклонно растет в народе самосознание, загорается солнце социальной справедливости, и под дыханием грядущей весны заметно тает холодный и тяжкий покров лицемерия и предрассудков, бесстыдно обнажается уродливый остов современного общества — тюрьмы человеческого духа.

Миллионы глаз горят радостным огнем, всюду сверкают молнии гнева, освещая веками накопленные тучи глупости и ошибок, предубеждений и лжи; мы — накануне праздника всемирного возрождения народных масс.

Придавленный к земле, окованный цепями

рабьего труда, народ поднимает голову, уже видны черты его вечно юного лица.

Люди, которые знают, что народ есть неиссякаемый источник энергии, единственно способный претворить все возможное — в необходимое, все мечты — в действительность, — эти люди счастливы! Ибо в них всегда было живо творческое чувство своей органической связи с народом, ныне это чувство должно вырасти, наполнив их души великой радостью и жаждой творчества новых форм для новой культуры.

Признаки возрождения человечества — ясны, но «люди культурного общества» якобы не видят их, что, впрочем, не мешает мещанам чувствовать неотразимую близость мирового пожара.

Тупые орудия процесса накопления богатств, сознательные участники насилия над волею народа, они осуждены защищать свои безнадежные позиции и прячутся в тесную клетку своей культуры, которой называют внушенное им и умертвившее их души убеждение в том, что власть капитала — навеки законна, навсегда незыблема, они теперь даже и не рабы своего хозяина, а домашние животные его.

Рабы перерождаются в людей — вот новый смысл жизни! И потому владыки должны исчезнуть, ибо владыка только паразит раба.

Здесь нет парадокса: раб и владыка — два конца одной и той же психологической линии,

раб живет смутной мечтой о власти, владыка же — страхом за свою власть. Но когда раб понял цену свободы, почувствовал свое право на нее — он становится человеком, а человек — бесстрашен, и власть над подобными себе противна ему.

Пришло время, когда разумнее уступить силе необходимости, чем способствовать накоплению законного гнева и жестокости, которую может вызвать он...

Но было бы бесполезно рассказывать слепым от рождения об игре красок на лице моря, еще более бесполезно убеждать командиров жизни и мещанство — армию их — в том, что они враги самих себя.

Медные головы этих людей не знают иных аргументов, кроме золота и железа, свинца и других металлов, из которых скованы цепи их власти.

Жизнь растет, и современное общество ощущает судороги почвы под ногами своими — это ясно звучит во всей его психологии, а яснее всего видимо в общем страхе пред завтрашним днем.

Душа человека сего дня — пустыня, и он с невольным трепетом ждет, что завтра в ней явится нечто неведомое, враждебное ему, оно встанет в душе, как сфинкс, и повелительно предложит человеку решить назревшую социальную задачу.

Предчувствуя этот роковой визит необходимости, сознавая себя мертвым пред нею, мещанин хочет спрятаться где-нибудь, хочет заполнить чем-нибудь трясину внутри себя — ему страшно лишиться привычного покоя и уюта, хотя этот покой скорее самогипноз, чем реальность.

Любимые уголки, куда прячется мещанство от жизни, давно известны ему: это — бог, метафизика и цинизм.

Но бог только для того, кто может создать его в душе своей силою веры и оживить огнем ее, — в маленькой душе современного человека погасли все огни, и во тьме ее нет места не только богу, но даже идолу тесно.

Метафизика хороша после победы, а перед боем необходимо точное знание, метафизика не может успокоить сердца, смятенные предчувствием поражения.

Когда человек хочет узнать — он исследует, когда он хочет спрятаться от тревог жизни — он выдумывает.

Наши суровые дни не дают времени для выдумок — и попытки мещанства скрыться в туманах метафизики неудачны.

Наконец, метафизика есть творчество. Как всякое деяние, она требует вдохновения и силы — любви или ненависти, а мещанство ничего не любит и не имеет силы для ненависти.

Отрицать это трудно, ибо оно само устами

своих поэтов и писателей не однажды сознавалось и все чаще сознается в том, что переживает духовный кризис, банкротство духа. Следует сказать — агонию духа.

Средством самозащиты против напора исторической справедливости мещанство избрало цинизм.

Офицеры, участники последней войны, рассказывали, что, когда солдатам приходилось сдавать позиции врагу, они старались не только разрушить все, что поддавалось разрушению, но загрязнить и запачкать даже землю, защищавшую их.

То же самое наблюдается в литературе и жизни наших дней — предчувствуя близость сдачи позиции народу, будущие побежденные усиленно стараются испачкать все, что можно.

Разумеется, среди разрушаемого есть много старого, изжитого, все это давно нужно бы уничтожить, — и, таким образом, мещанство выполняет часть той необходимой грязной работы, которую должны были бы выполнять победители, когда им придется очищать место, где господа культурные люди насильствовали друг друга.

Я не утверждаю, что мещане грязнят жизнь сознательно: разврат большого ума и изношенного тела — с одной стороны — результат дегенерации и пресыщения благами жизни, с другой — выражение жуткого от-

чаяния, вызванного близостью общественной катастрофы.

Человек взбесился от страха, оголил в себе животное и буйно рвет социальные путы.

Так или иначе, однако циники, разлагаясь, заметно портят воздух, и как скажешь, что в этой их работе нет смутного желания отравить победителя, привив ему все болезни своей души и тела?

Может быть, существует мысль, еще не оформленная сознанием: «Вы победили, но — погибнете в грязи, которую мы оставим в наследство вам...»

Современный цинизм одевается разнообразно, — всего грубее и наименее умно — в черный плащ пессимизма.

— «Суета сует и всяческая суета!» — бормочет мещанин мертвые слова, романически драпируясь в лохмотья своей дряхлости.

Жизнь трепещет в жажде свободного творчества, тысячи героев свято и гордо гибнут в борьбе за осуществление великой мечты всемирного братства — циник это знает.

— «Род приходит и снова уходит», — говорит он, спрятав лицо свое в древнюю книгу, где мятежная мысль человека пробовала силу бога, созданного ею, пробовала и горько сомневалась в силе и красоте его.

Когда видишь, что за этой навсегда красивой, гордой книгой прячется жалкая фигурка

трусливого циника, прячется и тупоумно клеветает на мудрого ради оправдания лени своей или бессилия своего, — обидно за книгу.

Когда-то красивый и круглый, созданный любовью и гневом искренних людей, теперь пессимизм изжеван болтунами, испачкан слюною мещан, захватан их грязными пальцами и превратился в бесформенное месиво избитых пошлостей — их стыдно слушать.

— Мы никогда ничего не узнаем, мы не можем разгадать тайны, окружающие жизнь, — говорят циники и погружаются в болото разнужданности.

Но когда циники слышат, что кто-то, неустанно исследуя тайны жизни, обогатил мысль человечества новой догадкой, придал работе изучения природы новую энергию, — это их, видимо, раздражает.

— Все ваши усилия бесполезны, вы ничего не знаете, ваш познавательный аппарат навсегда несовершенен, — почему-то волнуясь, сердито доказывают они.

Здесь циник похож на кривого нищего, который сказал кузнецу, назвавшему его кривым: «А ты тоже урод — у тебя два глаза!..»

— Стоит ли жить? — спрашивает циник.

Затем он приводит массу доказательств в стихах и в прозе в пользу того, что жить не стоит, и — живет долго, охотно, сытно и спокойно.

Ибо, если уж решено, что жить не стоит, тем менее следует делать что-нибудь для ускорения хода жизни, для роста милой красоты и простой, светлой правды ее. Можно только просто жить, просто сосать чужие соки, надевать кучу ошибок, защищая свое личное бытие и собственность — главное, собственность! — укрепить старые предрассудки, создать несколько новых, развращать женщин, насорить везде, напачкать, затем в холодном ужасе пред неизбежностью слить пустоту своей души с пустотой вечности, долго умирать в трусливых судорогах, в жалких криках и, наконец, очистить землю от своего присутствия на поверхности ее, оставив в наследство народу еще более осложненную своим участием тяжкую путаницу клейких лжей, мертвых слов, дрянных преубеждений и кучу прочего хлама.

— Стоит ли жить человечеству? — спрашивает циник и, хватая отовсюду искалеченные им мысли, быстро решает, опираясь на кости мертвых:

— Нет...

Это несколько преждевременное решение вопроса — он может быть решен так или иначе лишь тогда, когда вся масса белых, желтых и черных людей познает все блага жизни, испытает все наслаждения духа и тела, рассмотрит всю гигантскую работу человечества за века его бытия, поймет всю силу любви, страданий

и подвигов прошлого, оценит все великие заветы своих предков, равномерно разделит между всеми и каждым весь неизмеримый опыт их.

Может быть, тогда люди единогласно поставят взорвать земной шар — это их право.

Но когда паразиты на теле немого великана решают вопрос о ценности бытия его — это противно и смешно, это — цинизм!

Человек почти все свое может сделать красивым, некогда он и цинизм свой показывал миру в очертаниях ярких, сильных, но цинизм наших дней удивительно уродлив и пошл.

Ироды трепещут за власть свою, зная, что родилась новая религия, они спешат истребить всех верующих в возможность царствия человеческого на земле, которую Ироды привыкли считать навеки царством мерзости своей.

Смерть глотает тысячи жертв, погибают люди, наиболее нужные для целей жизни, ибо гибнут верующие. Об этом истреблении людей можно говорить только с гневом, только с отвращением или же, памятуя, что народ бессмертен, мужественно молчать; здесь нет места стонам, и жалость так же оскорбительна, как необходима месть.

Но в убийствах не смерть виновата, а безумие тех, кто озверел от страха.

Когда же смерть законно является во время свое, когда она просто и спокойно приходит убрать с дороги жизни ветхое, отжившее, у же

полумертвое, — что кроме благодарности можно питать к ней?

Может быть, иногда она заслуживает осуждения, ибо порою невнимательна к делу своему — многие люди живут слишком долго, видимо, забывая, что мудрый должен умереть вовремя.

Но все здоровое и простое чуждо циникам, и они, конечно, не могут представить себе, как отвратительна была бы жизнь, будь мещанство бессмертно.

Страх жизни понуждает их много говорить и думать о смерти, они усердно лижут ее кости трусливыми языками и, точно нищие, просят у нее милостыню внимания к ним. В суждениях о ней у них всегда звучит нечто холопское, как будто лакей, боясь, что госпожа уличит его в краже сахара, заранее старается смягчить гнев ее грубою лестью.

Смерти боятся, и, вероятно, боятся искренно; должно быть, день и ночь мещане носят в себе тяжкий гнет жуткого ужаса пред нею и слагают в честь ее лживые гимны, осыпают скелет ее бумажными цветами своей холодной фантазии, кланяются ей и ползают у ног, не смея взглянуть в спокойное и мудрое лицо, бормочут о великой силе и мрачной красоте смерти, но представляют себе лик ее безобразным.

Смерть с презрением отвертывается от них — она, должно быть, брезглива, судя по тому, как долго не прекращает противные страдания по-

раженных сифилисом, проказою, прогрессивным параличом и не обрывает тягучую, липкую нить жизни пошляков.

У циников есть страх пред смертью, но — еще больше игры с нею, все той же игры в прятки с жизнью.

Жизнь требует от человека деяний, подвигов, силы, красоты — циники говорят:

— Нет жизни, есть только смерть...

Нет идеалов, нет воли создать их, но осталась жива рабья привычка опускаться на колени, она создает идолов, и в молитвах им циники удобно прячутся...

Иногда, притворяясь искренно страдающим, циник стонет: «Вкушая, вкусих мало меда и се аз умираю!..»

Лжет! Должен сказать: «Я пожрал от всего, что мне казалось сладким, и отравлен пресыщением».

«Жизнь и смерть — две верные подруги, две сестры родные, времени бессмертного бессмертные дочери». Одна вся в солнечных лучах, окрыленная чудесными и тайными мечтами, вечно горит пламенем творчества, безумно щедрая, всегда влюбленная. Другая — рядом — задумчивая, скромная, вся белая и гордо чистая, величественно строгая, с глубокими глазами цвета ясных небес летнего вечера, и в глазах ее тихо мерцает добрая дума о жизни, мягкая улыбка трудам ее.

Жизнь неустанно сеет по земле семена свои, и все трепещет радостью на путях ее, растет, цветет разнообразно, ярко, поет и смеется, опьяненное солнцем. Но, творя, жизнь ищет, она хочет создавать только великое, крепкое, вечное и, когда видит избыток мелкого, обилие слабого, говорит сестре своей:

— Сильная, помоги! Это — смертное.

Смерть покорно служит делу жизни...

Цинизм является перед людьми в пестрых одеждах «новой красоты».

«Мера жизни — красота!» — возглашает циник чужие слова, глубокий смысл которых враждебен цинизму.

Вокруг уродливые дети выродившегося мещанства, дети без крови в жилах, полубольные женщины, в которых умерло чувство красоты, изнуренные развратом юноши, разбитые ревматизмом, искалеченные подагрой, полоумные старики...

На улицах — живые памятники творчества мещан: безголовые хулиганы — их дети, гнилые проститутки — их жертвы, — красота!

И отовсюду смотрят полуслепые, гнойные глаза нищеты, везде развеваются ее заразные лохмотья, со всех сторон тянутся за милостыней тысячи грязных, костлявых рук — какая красота!

В хаосе полумертвого от голода тела, в черном вихре рубищ вертится обожженный раз-

вратом и болезнями циник, с бессильными мускулами, с размягченными костями, с безумной, предсмертной жаждой острых наслаждений и тусклыми глазами на желтом лице под голым черепом, это — «новая красота»?

Он ходит по городам, как мародер по полю битвы, как вор по кладбищу, и говорит:

— Служу красоте!

И станвится на колени перед кучей пестрых пустыков, прячется от безобразия окружающего за груды жалких выдумок, — тут рисуночки, игрушечки, статуэточки, изящные книжечки — маленькие плоды напряженного труда мелких душ. Вся эта мелочь, сделанная наскоро ввиду сильного спроса, заполняет комнаты и души циников, ослепляя глаза пестротой красок, оглушая звоном пустых фраз, приятно раздражая тупые нервы своей пряностью, и за нею тихо исчезают, становятся неясными образы великих творцов вечной красоты. Гаснут святыи гимны поэтов прошлого, забываются их имена, заглушенные громким базарным шумом жрецов «нового искусства», покорнейших слуг мещанства.

— Новая красота, — говорят циники, углубляясь в созерцание мелочей и стараясь забыть, что красота бессмертная — в любви, а не в похоти, в деянии, а не в покое, в росте духа человеческого, в воплощении мечты.

Раскололи мещане маленькие души свои

на мелкие куски, и все более раскалывают их, и — живут в розницу, плененные крошечными забавами своими.

А вокруг них все более часто, все более обильно и всюду льется яркая кровь того гиганта-поэта, который создал всех богов и Прометея, Мойру и птицу Феникс, Христа и Сатану, Фауста и Агасфера, тысячи сказок, саг, легенд, песен. Льется кровь того, кто и доньше не превзойден в творчестве.

Мы назвали бессмертными тех, кто умел красиво и просто пересказать нам великие творения народа, а народ — первейшего творца красоты по силе и по времени, — народ низвели на степень орудия нашей жадности, ограбили силу его, исказили бессмертную душу — и теперь циники говорят:

— Груб он и глуп, народ; жесток и развратен!

Справедливо сказано, что в чужой стране каждый видит только то, что приносит в себе самом!

Говоря так о народе, циники представляют себе ту массу дегенератов, которых они же расплодили в жизни и которые социально более близки им, психологически более понятны, чем народ, далекий от них, непостижимый для них в своей глубоко скрытой целомудренной духовной жизни...

Народ мог бы ответить циникам словами

Иова: «Сколько знаете вы — знаю и я не хуже вас. Но я хотел бы ко вседержителю говорить, я хочу состязаться с богом!»

Вот теперь он снова начинает сознавать силы свои и свое право на свободу, он поднимается с земли, рвет путы свои, а циники прячут головы перед лицом его и, косноязычные от страха, говорят друг другу:

— Идут варвары... культуре грозит гибель... наша культура!

Все это — ложь и клевета, это цинизм и только!

Разве культура — ваша любовь и страсть, разве она — ваша религия, разве она священна для вас?

Смотрите — народ жаждет культуры, это за обладание ею борется он, а где — вы?

Вы или прячетесь от участия в борьбе за возрождение и свободу духа, или идете вместе с явными врагами народа против культуры.

Лжете вы, говоря, что любите ее, ничего вы не любите и даже самих себя не умеете любить.

Все вы родились голыми и так живете, и нет лжи, которая скрыла бы безобразие наготы вашей.

Лучше бы родиться вам честными или не рождаться совсем, не осквернять бы прекрасную трагедию жизни своим жалким вмешательством!

И не говорить бы вам о красоте, ибо вы можете изнасиловать, но бессильны оплодотворить!

Свобода любит красоту, а красота — свободу.

Но — разве вы свободны?

И разве — красивы?

Цинизм прикрывается и свободой — искажением полной свободы, — это наиболее подлая маска его.

Литература, устами наиболее талантливых писателей, единогласно свидетельствует, что, когда мещанин, устремляясь к полной свободе, обнажает свое «я», — перед современным обществом встает животное.

Очевидно, это явление неизбежное и независимое от воли авторов. Их усилия почтенны и ясны — им хочется дать поучительный образ человека, совершенно свободного от предрассудков и традиций, связующих мещан в целое, в общество, стесняющее рост личности, им хочется создать «положительный тип», героя, который берет от жизни все и ничего не дает ей.

Герой, являясь на страницах романа, более или менее остроумно доказывает свое право быть тем, что он есть, совершает ряд подвигов ради самоосвобождения из плена социальных чувств и мыслей, и если окружающие персонажи вовремя не задушат его или он сам не убьет себя, то в конце книги непременно является

перед читателем из мещан как новорожденный поросенок, — как поросенок — это в лучшем случае.

Читатель хмурится, читатель недоволен. Там, где есть «мое», непременно должно существовать совершенно автономное «я», но читатель видит, что полная свобода одного «я» необходимо требует рабства всех других местоимений, — старая истина, которую каждый усиленно старается забыть.

Мещанин слишком часто видит это, ибо в практике жизни, в ежедневной свирепой борьбе за удобное существование человек становится все более жестоким и страшным, все менее человечным.

А в то же время такие звери необходимы для защиты пресвятой и благословенной собственности.

Мещанин привык делить людей на героев и толпу, но толпа исчезает, превращаясь в социалистические партии, а они грозят стереть с лица земли маленькое мещанское «я»; мещанин зовет героя на помощь себе — приходит вороватое и жадное существо с психологией бешеного кабана или российского помпадура.

А для этого монстра, призванного на защиту священного права частной собственности, не существует священных прав человеческой личности, да и на самую частную собственность он смотрит глазами завоевателя.

С одной стороны — многоглавая красная гидра, с другой — огненный дракон разверз ненасытную пасть, а посреди них распутно мечется маленький человечек со своей нищенской собственностью.

И, хотя она для него — кандалы каторжника, ярмо раба, — он ее любит, он ей верно служит и всегда готов защищать целостность и власть ее всей силой лжи и хитрости, на какую способен, всегда готов оправдывать бытие ее всеми средствами от бога и философии до тюрьмы и штыков!

Но это мало помогает, и, чувствуя близость конца своего, в отчаянии, может быть, бессознательном, скромный мещанин превращается в циника воинствующего.

— Так поживу же я как хочу!

Начинает жить как может. Потому что — животное социальное — он обладает «памятью вида», многообразным наслоением общественных инстинктов, смутным чувством своей связи с людьми, которое он иногда называет совестью или стыдом и которое всегда мешает ему жить так откровенно гнусно, как он хотел бы.

Для того чтобы на закате дней бытия свободно проявить все желания своей изъязвленной души, все похоти и пороки истрепанного тела, он, понуждаемый совестью, находит необходимым прикрывать свои безобразия вуалью некоторых высших соображений.

— Ищу последней свободы! — торжественно возвещает он, проповедуя и демонстрируя однополюю любовь.

А насилуя мальчиков, провозглашает возрождение эллинской красоты и философствует на тему о том, что природа создала женщину, преследуя свои цели, но ее цели — узы и цепи для человека, а потому...

— Долой узы!

Но не брезгает и женщиной, развращает и ее по мере сил своих.

Женщина же все еще не может сбросить с плеч своих тяжелых гипноз истории, не убила в крови воспоминания о былом рабстве.

Природа наделила человека половым инстинктом, а женщина создала любовь, но она, видимо, не помнит об этом, ее уважение к себе самой все еще слишком слабо против атавистических переживаний рабыни.

Циники знают это и умеют пользоваться этим, они сулят неизведанное, обещают открыть в любви величайшие тайны, говорят о свободе и еще о свободе и иллюзиями, которые она любит так же страстно, как блестящие безделушки, успешно и легко заманивают в грязную тьму извращений своей похоти.

Непобедимо сильная способностью любить, всегда охваченная стремлением почувствовать любовь еще более глубокой и прекрасной, она легко поддается острым раздражениям цини-

ков и, когда ей подносят яд в красивой чаше, пьет его охотно.

Деятельность циников всего энергичнее протекает в области половых отношений — разврат не требует много силы. В этой области они работают успешно и — как это известно — достигают блестящих результатов, о чем, между прочим, свидетельствует «*Militarische-Politische Korrespondenz*», сообщая, что «во многих гвардейских германских полках вводится в качестве учебного предмета просвещение рекрутов насчет опасностей и соблазнов, связанных с гомосексуальными извращениями». Разве это не успех?

«Я погибаю, но — перед гибелью моей изгажу все, что успею изгадить!»

Повторяю, может быть, циники не думают столь определенно, но, оскверняя жизнь так усердно, всюду, где могут, они невольно заставляют наблюдателя объяснять себе их гадости не только желанием наслаждений, но и намерением испортить все, что поддается порче.

Я не моралист, и если бы вся эта анархия дрянных инстинктов и больного духа, вся эта гниль и грязь не выходила за пределы общества мещан, она была бы для меня только процессом самоистребления в среде тех, кто не нужен и враждебен жизни.

Но буря животной распущенности, мятеж обезумевших может захлестнуть своей волной

драгоценнейшее в жизни — часть того юношества, которое растет и поднимается к вершинам духа из почвы его, из глубин народа.

Вот почему берешь на себя противную задачу посылно осветить тот процесс разложения человека, который льстецы именуют психологией современного культурного общества.

Иногда циник гордо заявляет:

— Я хочу достичь духовной цельности, я стремлюсь к совершенству...

Он лжет, конечно, но ему могут поверить, ибо мечта о цельности духовной — красивая мечта.

Но под маркой индивидуализма предлагается все тот же более или менее ловко подделанный социальный цинизм.

Представим себе цельного человека как существо, в котором все здоровые свойства его психофизики развиваются гармонично, не противореча одно другому.

Возможен ли подобный человек в условиях битвы за сытость? Рост каждого «я» необходимо ограничен затратою всех сил на приобретение и охрану собственности.

В борьбе за целость ее можно сделать свое «я» только более узким, специализировать его на изобретение военных хитростей, принизить гордость свою, но не развить ее, отдать себя в плен жадности, зависти, злобы, но не вырваться на свободу.

Для достижения даже маленьких удобств человек должен делать большие подлости, и только в подлостях он достигает совершенства.

Циники не очень глупы: они знают, что в современных условиях битвы всех со всеми человек дробится на куски, хочет он этого или нет.

Им известно, что духовная цельность невозможна и гармонизация своего «я» недостижима у человека, — нет для этого ни времени, ни места.

Но они все-таки зовут, заманивают и толкают в эту сторону — один из приемов их борьбы с неизбежным.

— Свобода — там! — говорят они, и указывают место около себя, и, может быть, сбивая людей с прямого пути, количественно растут.

Свобода всегда впереди и всегда — далеко!

Истинный индивидуализм в будущем, он — за социализмом, он не может быть достигнут человеком наших дней, и он — не по фигуре ему, как рыцарские латы не по фигуре горбуну.

Не «я», но — «мы» — вот начало освобождения личности! До поры, пока будет существовать нечто «мое», — «я» не вырвется из крепких лап этого чудовища, не вырвется, пока не почерпнет в народе столько силы, сколько надо, чтобы сказать всему миру: «Ты — мой!»

Тогда наконец человек почувствует себя воплощением всего богатства, всей красоты мира,

всего опыта человечества и равным духовно всем братьям своим!

Личность целостная возможна лишь тогда, когда исчезнут герои и не будет толпы, когда явятся люди, связанные друг с другом чувством взаимного уважения.

Это чувство должно возникнуть из воспоминаний о великой коллективной работе, которую народ совершил в прошлом ради своего возрождения, это чувство должно укрепиться сознанием единства опыта у каждого со всеми и солидарности задач всех и каждого.

А со временем это чувство уважения человека к человеку претворится в религию, ибо религией человечества должна быть прекрасная и трагическая история его подвигов и страданий в бесконечной, грандиозной борьбе за свободу духа и за власть над силами природы!

(1908)

Разрушение личности

I

Народ — не только сила, создающая все материальные ценности, он — единственный и неиссякаемый источник ценностей духовных, первый по времени, красоте и гениальности творчества философ и поэт, создавший все великие поэмы, все трагедии земли и величайшую из них — историю всемирной культуры.

Во дни своего детства, руководимый инстинктом самосохранения, голыми руками борясь с природой, в страхе, удивлении и восторге пред нею, он творит религию, которая была его поэзией и заключала в себе всю сумму его знаний о силах природы, весь опыт, полученный им в столкновениях с враждебными энергиями вне его. Первые победы над природой вызвали в нем ощущение своей устойчивости, гордости собою, желание новых побед и побудили к созданию героического эпоса, который стал вмещалищем знаний народа о себе и требований

к себе самому. Затем миф и эпос сливались воедино, ибо народ, создавая эпическую личность, наделял ее всей мощью коллективной психики и ставил против богов или рядом с ними.

В мифе и эпосе, как и в языке, главном деятеле эпохи, определенно сказывается коллективное творчество всего народа, а не личное мышление одного человека. «Язык, — говорит Ф. Буслаев, — был существенной составной частью той нераздельной деятельности, в которой каждое лицо хотя и принимает живое участие, но не выступает еще из сплоченной массы целого народа».

Что образование и построение языка — процесс коллективный, это неопровержимо установлено и лингвистикой, и историей культуры. Только гигантской силой коллектива возможно объяснить непревзойденную и по сей день глубокую красоту мифа и эпоса, основанную на совершенной гармонии идеи с формой. Гармония эта, в свою очередь, вызвана к жизни целостностью коллективного мышления, в процессе коего внешняя форма была существенной частью эпической мысли, слово всегда являлось символом, то есть речение возбуждало в фантазии народа ряд живых образов и представлений, в которые он облакал свои понятия. Примером первобытного сочетания впечатлений является крылатый образ ветра: невиди-

мое движение воздуха олицетворено видимою быстротой полета птицы; далее легко было сказать: «Реют стрели яко птицы». Ветер у славян — стри, бог ветра — Стрибог, от этого корня стрела, стрежень (главное и наиболее быстрое течение реки) и все слова, означающие движение: встреча, струг, сринуть, рыскать и т.д. Только при условии сплошного мышления всего народа возможно создать столь широкие обобщения, гениальные символы, как-вы Прометей, Сатана, Геракл, Святогор, Илья, Микула и сотни других гигантских обобщений жизненного опыта народа. Мощь коллективного творчества всего ярче доказывается тем, что на протяжении сотен веков индивидуальное творчество не создало ничего равного «Илиаде» или «Калевале» и что индивидуальный гений не дал ни одного обобщения, в корне коего не лежало бы народное творчество, ни одного мирового типа, который не существовал бы ранее в народных сказках и легендах.

Мы еще не имеем достаточного количества данных для суждения о творческой работе коллектива — о технике создания героя, но, мне кажется, объединяя наши знания по вопросу, дополняя их догадками, мы уже можем приблизительно очертить этот процесс.

Возьмем род в его непрерывной борьбе за жизнь. Небольшая группа людей, окруженная отовсюду непонятными и часто враждебными

явлениями природы, живет тесно, в постоянном общении друг с другом; внутренняя жизнь каждого ее члена открыта наблюдениям всех, его ощущения, мысли, догадки становятся достоянием всей группы. Каждый член группы инстинктивно стремился высказаться о себе до конца — это внушалось ему ощущением ничтожества своих сил перед лицом грозных сил зверя и леса, моря и неба, ночи и солнца, это вызывалось и видениями во сне, и странною жизнью дневных и ночных теней. Таким образом, личный опыт немедленно вливался в запас коллективного, весь коллективный опыт становился достоянием каждого члена группы.

Единица представляла собой воплощение части физических сил группы и всех ее знаний — всей психической энергии. Единица — исчезает, убитая зверем, молнией, задавленная упавшим деревом, камнем, поглощенная чарусой болота или волной реки, — все эти случаи воспринимаются группой как проявление разных сил, которые враждебно подстерегают человека на всех его путях. Это вызывает в группе печаль об утрате части своей физической энергии, опасение новых потерь, желание оградить себя от них, противопоставить силе смерти всю силу сопротивления коллектива и естественное желание борьбы с нею, мести ей. Вызванные убылью физической силы переживания коллектива слагались во единое,

бессознательное, но необходимое и напряженное желание — заместить убыль, воскресить отошедшего, оставить его в своей среде. И на тризне по родном человеке род впервые создавал в своей среде личность; ободряя себя и как бы угрожая кому-то, он, род, соединял с этой личностью всю свою ловкость, силу, ум и все качества, делавшие единицу и группу более устойчивой, более мощной. Возможно, что каждый член рода в этот момент вспоминал какой-либо свой личный подвиг, свою удачную мысль, догадку, но, не ощущая свое «я» как некое бытие вне коллектива, присоединял все содержание этого «я», всю энергию его к образу погибшего. И вот над родом возвышается герой, вместилище всей энергии племени, уже воплощенной в деяниях, отражение всей духовной силы рода. В этот момент должна была создаваться совершенно особенная психическая среда: возникала воля к творчеству, превращавшая смерть в жизнь. Все воли, направленные с одинаковой силой на воспоминание о погибшем, делали это воспоминание центром своего пресечения, и, может быть, коллектив даже ощущал присутствие в своей среде героя, только что созданного им. Мне думается, что на этой стадии развития явилось понятие «он», но еще не могло сложиться «я», ибо коллектив не имел в нем нужды.

Роды объединялись в племена — образы

героев сливались в образ племенного героя, и возможно, что двенадцать подвигов Геркулеса знаменуют собой союз двенадцати родов.

Создав героя, любуясь и гордясь его мощью и красотой, народ необходимо должен был внести его в среду богов — противопоставить свою организованную энергию многочисленности сил природы, взаимно враждебных самим себе и человечеству. Спор человека с богами вызывает к жизни грандиозный образ Прометея, гения человечества, и здесь народное творчество гордо возносится на высоту величайшего символа веры, в этом образе народ вскрывает свои великие цели и сознание своего равенства богам.

По мере размножения людей возникает борьба родов, рядом с коллективом «мы» встает коллектив «они» — и в борьбе между ними возникает «я». Процесс образования «я» аналогичен процессу образования эпического героя — коллектив нуждался в образовании личности, потому что должен был разделять в себе функции борьбы с «ними» и с природой, должен был вступить на путь специализации, делить свой опыт между членами своими, — этот момент был началом дробления целостной энергии коллектива. Но, выдвигая из среды своей личность в качестве вождя или жреца, коллектив насыщал ее всем своим опытом точно так же, как в образ героя влагал

всю массу своей психики. Воспитание вождя и жреца должно было иметь характер внушения, гипноза личности, обреченной на выполнение руководящей функции; но, творя личность, коллектив не нарушал в себе органического сознания единства своих сил — процесс разрушения этого сознания совершился в психике индивидуальной. Когда личность, выделенная коллективом, встала впереди него, в стороне от него и затем над ним, — первое время она, трудясь, выполняла возложенную на нее функцию как орган коллектива, но далее, развив свою ловкость и проявив личную инициативу в тех или иных новых комбинациях данного ей материала коллективного опыта, сознала себя как новую творческую силу, независимую от духовных сил коллектива.

Этот момент является началом расцвета личности, а это ее новое самосознание — началом драмы индивидуализма.

Стоя впереди коллектива, жадно наслаждаясь ощущением своей силы, видя свое значение, личность первое время не могла ощущать пустоты вокруг себя, ибо психическая энергия родной среды продолжала передаваться ей из коллектива. Он видел в ее росте доказательство своей силы, продолжал насыщать своей энергией еще не враждебное ему «я», искренно любовался блеском ума, обилием способностей вождя и венчал его венцами славы. Пред во-

ждем стояли образы эпических героев племени, возбуждая его к равенству с ними, коллектив в лице вождя чувствовал возможность создать нового героя, и эта возможность была жизненно важна ему, ибо слава подвигов данного племени была в ту пору столь же крепкой обороной от врага, как мечи и стены городов.

«Я» вначале не теряло ощущения своей связи с коллективом, оно чувствовало себя вместилищем опыта племени и, организуя этот опыт в форму идей, ускоряло процесс накопления и развития новых сил.

Но, имея в памяти образы героев, вкусив сладость власти над людьми, личность стала стремиться к закреплению за собой данных ей прав. Она могла это делать, лишь превращая созданное и сменяющееся в незыблемое, выдвинувшие ее формы жизни — в непоколебимый закон; других путей к самоутверждению у нее не было.

Поэтому мне кажется, что в области духовного творчества личность играла консервативную роль: утверждая и отстаивая свои права, она должна была ставить пределы творчеству коллектива, она суживала его задачи и тем искажала их.

Коллектив не ищет бессмертия, он его имеет, личность же, утверждая свою позицию владыки людей, необходимо должна была воспитать в себе жажду вечного бытия.

Народ, как всегда, стихийно творил, побуждаемый стремлением своим к синтезу — к победе над природой, личность же, утверждая единобожие, утверждала свой авторитет, свое право на власть.

Когда индивидуализм укреплялся в жизни как начало командующее и угнетающее, он создал бессмертного бога, заставил массы признать личное «я» богоподобным и сам уверовал в творческие силы свои. Далее, в эпоху своего расцвета, стремление личности к абсолютной свободе необходимо поставило ее резко против ею же установленных традиций и ею же созданного образа бессмертного бога, который освящал эти традиции. В своем стремлении ко власти индивидуализм был вынужден убить бессмертного бога, опору свою и оправдание бытия своего; с этого момента начинается быстрое крушение богоподобного одинокого «я», которое без опоры на силу вне себя не способно к творчеству, то есть к бытию, ибо бытие и творчество — едины суть.

Современный нам индивидуализм вновь разнообразно пытается воскресить бога, дабы силою авторитета его снова укрепить истощенные силы «я», одряхлевшего, заплутавшегося в темном лесу узко личных интересов, навсегда потеряв дорогу к источнику живых творческих сил — коллективу.

У племени возникал страх перед самов-

ластием личности и враждебное отношение к ней. Бестужев-Рюмин приводит следующее свидетельство Ибн Фадлана о болгарах Волги: «Если они встречают человека с необыкновенным умом и глубоким познанием вещей, то говорят: „Ему впору служить богу“, потом схватывают его, вешают на дереве и оставляют в таком положении, доколе труп не распадется на части». У хазар был такой порядок: выбрав вождя, ему накидывали петлю на шею и спрашивали, сколько времени хочет он управлять народом. Сколько лет он назначит, столько и должен править, иначе его умерщвляли. Этот обычай встречался также у других тюркских племен; он знаменует собою степень страха племени перед развитием личного начала, враждебного коллективным целям.

В легендах, сказках и поверьях народа мы находим бесчисленное количество поучительных доказательств бессилия личности, насмешек над ее самоуверенностью, гневных осуждений ее жажды власти и вообще враждебного отношения к ней; народное творчество пропитано убеждением в том, что борьба человека с человеком ослабляет и уничтожает коллективную энергию человечества. Во всей этой суровой дидактике определенно сказывается глубоко поэтически сознанным народом убеждение в творческих силах коллектива и его громкий, порою резкий призыв к стройному единению

ради успеха борьбы против темных сил враждебной людям природы. Если же человек вступает в эту борьбу единолично, его подвергают осмеянию, осуждают на гибель. Разумеется, в этом споре, как во всякой вражде людей, обе стороны неизбежно преувеличивали грехи друг друга, а преувеличение влекло к еще большей злобе и большему разобщению двух творческих начал — первичного и производного.

По мере количественного размножения «личностей» они вступали в борьбу друг с другом за объем власти, за охрану интересов все более жадного к славе «я»; коллектив дробился, все менее питал их своей энергией, психическое единство таяло, и личность бледнела. Ей уже приходилось удерживать занятую позицию против воли племени, нужно было все более зорко ограждать свое личное положение, имущество, жен и детей. Задачи самодовлеющего бытия индивидуальности становились сложны, требовали огромного напряжения; в борьбе за свободу своего «я» личность совершенно оторвалась от коллектива и оказалась в страшной и быстро истощившей ее силы пустоте. Началась анархическая борьба личности с народом — картина, которую рисует нам всемирная история и которая становится так невыносима для совершенно разрушенной, бессильной личности наших дней.

Росла всеразделяющая частная собствен-

ность, обостряя отношения людей, возникали непримиримые противоречия; человек должен был напрягать все силы на самозащиту от поглощения бедностью, на охрану личных своих интересов, постепенно теряя связь с племенем, государством, обществом, и даже, как мы это видим теперь, он едва выносит дисциплину своей партии, его тяготит даже семья.

Каждый знает, какую роль играла частная собственность в дроблении коллектива и в образовании самодовлеющего «я», но в этом процессе мы должны видеть, кроме физического и духовного порабощения народа, распад энергии народных масс, постепенное уничтожение гениальной, поэтически и стихийно творящей психики коллектива, которая одарила мир наивысшими образами художественного творчества.

Сказано, что «рабы не имеют истории», и, хотя это сказано господами, здесь однако есть доля правды. Народ, в котором и церковь, и государство с одинаковым усердием умерщвляли душу, стараясь обратить его в покорную их воле физическую силу, — народ был лишен и права, и возможности создавать свои догадки о смысле жизни, отражать в образах и легендах свои чаяния, мысль свою и надежды.

Но, хотя — духовно скованный — он не мог подняться до прежних высот поэтического творчества, он все же продолжал жить своей

глубокой внутренней жизнью, создал и создает тысячи сказок, песен, пословиц, иногда восходя до таких образов, как Фауст и т. д. Создавая эту легенду, народ как бы хотел отметить духовное бессилие личности, уже явно и давно враждебной ему, осмеять ее жажду наслаждений и попытки познать непознаваемое для нее. Лучшие произведения великих поэтов всех стран почерпнуты из сокровищницы коллективного творчества народа, где уже издревле даны все поэтические обобщения, все прославленные образы и типы.

Ревнивец Отелло, лишенный воли Гамлет и распутный Дон Жуан — все эти типы созданы народом прежде Шекспира и Байрона, испанцы пели в своих песнях: «Жизнь — есть сон» — раньше Кальдерона, а магометане-мавры говорили это раньше испанцев, рыцарство было осмеяно в народных сказках раньше Сервантеса и так же зло, и так же грустно, как у него.

Мильтон и Данте, Мицкевич, Гете и Шиллер возносились всего выше тогда, когда их окрыляло творчество коллектива, когда они черпали вдохновение из источника народной поэзии, безмерно глубокой, неисчислимо разнообразной, сильной и мудрой.

Я отнюдь не умаляю этим права названных поэтов на всемирную славу и не хочу умалять; я утверждаю, что лучшие образы индивидуального творчества дают нам великолепно огра-

ненные драгоценности, но эти драгоценности были созданы коллективной силой народных масс. Искусство — во власти индивидуума, к творчеству способен только коллектив. Зевса создал народ, Фидий воплотил его в мрамор.

Сама по себе, вне связи с коллективом, вне круга какой-либо широкой, объединяющей людей идеи, индивидуальность — инертна, консервативна и враждебна развитию жизни.

Посмотрите с этой точки зрения историю культуры, следя за ролью индивидуализма в эпохи застоя жизни, изучая типы его в эпохи активные, как, например, Возрождения и Реформации; вы увидите: в первом случае явный консерватизм индивидуальности, ее склонность к пессимизму, квиетизму и другим формам нигилистического отношения к миру. В такие моменты, когда народ, как всегда, непрерывно кристаллизует свой опыт, личность, отходя от него, игнорируя его жизнь, как бы утрачивает смысл своего бытия и, бессильная, позорно влачит дни свои в грязи и пошлости будней, отказываясь от своей великой творческой задачи — организации коллективного опыта в форму идей, гипотез, теорий. Во втором случае вас поражает быстрый рост духовной мощи личности — явление, которое можно объяснить лишь тем, что в эти эпохи социальных бурь личность становится точкой концентрации тысяч волей, избравших ее органом своим, и вста-

ет пред нами в дивном свете красоты и силы, в ярком пламени желаний своего народа, класса, партии.

Безразлично, кто эта личность — Вольтер или протопоп Аввакум, Гейне или Фра Дольчино, — и неважно, какая сила движет ими — ротюра или раскольники, немецкая демократия или крестьянство, — важно, что все герои являются перед нами как носители коллективной энергии, как выразители массовых желаний. Мицкевич и Красинский явились во дни, когда их родной народ был цинично разорван натрое физически, но еще с большей энергией, чем когда-либо раньше, чувствовал себя цельным духовно. И всегда и всюду на протяжении истории — человека создавал народ.

Особенно ярким доказательством данного положения служит жизнь итальянских республик и коммун в *tre-* и *quattrocento*, когда творчество итальянского народа глубоко коснулось всех сторон духа, охватило пламенем своим всю широту строительства жизни, создало столь великое искусство, вызвав к жизни изумительное количество великих мастеров слова, кисти и резца.

Величие и красота искусства прерафаэлитов объясняется физической и духовной близостью артиста с народом; художники наших дней легко могли бы убедиться в этом, попробовав идти путями Гирландайо, Донател-

ло, Брунеллески и всех деятелей этой эпохи, в которой творчество в напряженности своей граничило с безумием, было подобно мании и артист был любимцем народной массы, а не лакеем мецената. Вот как писал в 1298 году народ Флоренции, поручая Арнольфо ди Лапо построить церковь: «Ты воздвигнешь такое сооружение, грандиознее и прекраснее которого не могло бы представить себе искусство человеческое, ты должен создать его таким, чтобы оно соответствовало сердцу, которое сделалось чрезвычайно великим, соединив в себе души граждан, сплоченных в одну волю».

Когда Чимабуэ окончил свою мадонну — в его квартале была такая радость, такой взрыв восторга, что квартал Чимабуэ получил с того дня название «*Borgo Allegro*». История Возрождения переполнена фактами, которые утверждают, что в эту эпоху искусство было делом народа и существовало для народа, он воспитал его, насытил соком своих нервов и вложил в него свою бессмертную, великую, детски наивную душу. Это неоспоримо вытекает из показаний всех историков эпохи; даже антидемократ Монье, заканчивая свою книгу, говорит: «*Quattrocento* показало все, что человек в состоянии сделать. Оно показало, кроме того, — и этим оно дает нам урок, — что человек, предоставленный своим собственным силам, отнятый от целого, опираясь только на

самого себя и живя только для себя одного, не может совершить всего».

«Искусство и народ процветают и возвышаются вместе, так полагаю я, Ганс Сакел!»

Мы видим, как ничтожны «совершения» человека наших дней, мы видим горестную пустоту его души, и это должно заставить нас подумать о том, чем грозит нам будущее, посмотреть, чему поучает прошлое, открыть причины, ведущие личность к неизбежной гибели.

С течением времени жизнь принимает все более жесткий и тревожный характер борьбы всех со всеми; в этом непрерывном кипении вражды должны бы развиться боевые способности «я», вынужденного неустанно отражать напор себе подобных, и если индивидуальность вообще способна к творчеству, то именно этот бой всех со всеми дает наилучшие условия для того, чтобы «я» показало миру всю силу своего духа, всю глубину поэтического дара. Однако индивидуальное творчество само не создало пока ни Прометеев, ни даже Вильгельма Телля и ни одного поэтического образа, который можно было бы сравнить по красоте и силе с Гераклами седой древности.

Было создано множество Манфредов, и каждый из них разными словами говорил об одном — о загадке жизни личной, о мучительном одиночестве человека на Земле, возвышаясь порою до скорби о печальном одиночестве Земли во

Вселенной, что звучало весьма жалостно, но не очень гениально. Манфред — это выродившийся Прометей XIX века, это красиво написанный портрет мещанина-индивидуалиста, который навсегда лишен способности ощущать в мире что-либо иное, кроме себя и смерти пред собою. Если он иногда говорит о страданиях всего мира, то он не вспоминает о стремлении мира уничтожить страдания, если же вспоминает об этом, то лишь для того, чтобы заявить: страдание непобедимо. Непобедимо — ибо опустошенная одиночеством душа слепа, она не видит стихийной активности коллектива и мысль о победе не существует для нее. Для «я» осталось одно наслаждение — говорить и петь о своей болезни, о своем умирании, и, начиная с Манфреда, оно поет панихиду самому себе и подобным ему одиноким, маленьким людям.

Поэзии этого тона присвоено имя «поэзии мировой скорби»; рассматривая ее смысл, мы найдем, что «мир» привлечен сюда в качестве прикрытия, за которым прячется не помнящее родства, голое человеческое «я», — прячется, дрожит от страха смерти и совершенно искренно кричит о бессмысленности индивидуального существования. Отождествляя себя с живым великим миром, индивидуальность переносит ощущение утраты смысла своего бытия на весь мир: говорит о гордости своим одиночеством

и надоедает людям, как комар, требуя их внимания к стонам своей жалкой души.

Эта поэзия иногда сильна, но — как искренний вопль отчаяния; она может быть красива, но — как проказа в изображении Флобера; она вполне естественна как логическое завершение роста личности, которая умертвила в своей груди источник бодрости и творчества — чувство органической связи с народом.

Рядом с этим процессом агонии индивидуализма железные руки капитала, помимо воли своей, снова создают коллектив, сжимая пролетариат в целостную психическую силу. Постепенно, с быстротой все возрастающей, эта сила начинает сознавать себя как единственно призванную к свободному творчеству жизни, как великую коллективную душу мира.

Возникновение этой энергии кажется глазам индивидуалистов темною тучею на горизонте, оно их страшит, быть может, с тою же силой, как смерть физическая, ибо в нем скрыта для них необходимость социальной смерти. Каждый из них считает свое «я» заслуживающим особенного внимания, высокой оценки, но пролетариат, идущий обновить жизнь мира, не хочет подать сим «аристократам духа» милостыню внимания своего; они это знают и потому искренно ненавидят его.

Некоторые из них, будучи хитрее и понимая

великое значение грядущего, желали бы встать в ряды социалистов как законодатели, пророки, командиры, но пролетариат должен понять и неминуемо поймет, что эта готовность мещан идти в ногу с ним скрывает под собою все то же стремление мещанина к «самоутверждению своей личности».

Духовно обнищавшая, заплутавшаяся во тьме противоречий, всегда смешная и жалкая в своих попытках найти уютный уголок и спрятаться в нем, личность неуклонно продолжает дробиться и становится все более ничтожной психически. Чувствуя это, охваченная отчаянием, сознавая его или скрывая от себя самой, она мечется из угла в угол, ищет спасения, погружается в метафизику, бросается в разврат, ищет бога, готова уверовать в дьявола — и во всех ее исканиях, во всей суеде ее ясно видно предчувствие близкой гибели, ужас перед неизбежным будущим, которое если и не признается, то ощущается ею более или менее остро. Основное настроение современного индивидуалиста — тревожная тоска; он растерялся, напрягает все силы свои, чтобы как-нибудь прикрепиться к жизни, и нет сил, осталась только хитрость, названная кем-то «умом глупцов». Внутренне оборванный, потертый, раздерганный, он то дружелюбно подмигивает социализму, то льстит капиталу, а предчувствие близкой социальной гибели еще быстрее разрушает

крохотное, рахитичное «я». Его отчаяние все чаще переходит в цинизм: индивидуалист начинает истерически отрицать и сжигать то, чему он вчера поклонялся, и на высоте своих отрицаний неизбежно доходит до того состояния психики, которое граничит с хулиганством. Понятие «хулиганство» я употребляю не из желания обидеть уже обиженных и унижить униженных — тяжелее и горше, чем мог бы я, это делает жизнь; нет, хулиганство — просто результат психофизического вырождения личности, неоспоримое доказательство крайней степени ее разложения. Вероятно, это хроническая болезнь коры большого мозга, вызванная недостатком социального питания, болезнь воспринимающего аппарата, который становится все более тупым, вялым и, все менее чутко воспринимая впечатления бытия, вызывает, так сказать, общую анестезию интеллекта.

Хулиган — существо, лишенное социальных чувств, он не ощущает никакой связи с миром, не сознает вокруг себя присутствия каких-либо ценностей и даже постепенно утрачивает инстинкт самосохранения — теряет сознание ценности личной своей жизни. Он не способен к связному мышлению, с трудом ассоциирует идеи, мысль вспыхивает в нем искрами и, едва осветив призрачным, больным сиянием какой-либо ничтожный кусочек внешнего мира, бесплодно угасает. Впечатлительность его бо-

лезненно повышена, но поле зрения узко и способность к синтезу ничтожна; вероятно, этим и объясняется характерная парадоксальность его мысли, склонность к софизмам. «Не время создает человека, но человек время», — говорит он, сам себе не веря. «Важны не красивые действия, но красивые слова», — утверждает он далее, подчеркивая этим ощущение своего бессилия. Он обнаруживает склонность к быстрым переменам своих теоретических и социальных позиций, что еще раз указывает на зыбкость и шаткость его разрушенной психики. Это личность не только разрушенная, но еще и хронически раздвоенная — сознательное и инстинктивное почти никогда не сливаются у нее в одно «я». Ничтожное количество его личного опыта и слабость организаторских способностей разума вызывают в этом существе преобладание опыта унаследованного, и оно находится в непрерывной, но вялой, безрезультатной борьбе с тенью своего деда. Его окружают, как Эриннии, темные и мстительные призраки прошлого, держат в плену истерической возбудимости и вызывают из глубины инстинкта атавистические склонности животного. Его чувственная сфера расшатана, тупа, она настойчиво требует острых и сильных раздражений — отсюда склонность хулигана к половой извращенности, к сладострастию, к садизму. Ощущая свое бессилие, это суще-

ство, по мере того как жизнь повышает свои запросы к нему, вынуждено все более резко отрицать ее запросы, откуда и вытекает социальный аморализм, нигилизм и озлобление, типичное для хулигана.

Этот человек всю жизнь колеблется на границе безумия, и социально он более вреден, чем бациллы заразных болезней, ибо, представляя собой психически заразное начало, неустрашим теми приемами борьбы, какими мы уничтожаем враждебные нам микроорганизмы.

Основной импульс его бессвязного мышления, странных и часто отвратительных деяний — вражда к миру и людям, инстинктивная, но бессильная вражда и тоска больного; он плохо видит, плохо слышит и потому плетется, шатаясь, далеко сзади жизни, где-то в стороне от нее, без дороги и без сил найти дорогу. Он кричит там, но крики его звучат слабо, фразы разорваны, слова тусклы, и никто не понимает его вопля, вокруг него только свои, такие же бессильные и полубезумные, как он, и они не могут, не умеют, не хотят помочь. Но все они злобно, как сам он, плюют вослед ушедшим вперед, клеветают на то, чего понять не могут, смеются над тем, что им враждебно, а им враждебно все, что активно, все, что проникнуто духом творчества, украшает землю славой подвигов своих и горит в огне веры в будущее; «огнь же есть божество, пополаяя

страсти тленные, просвещаяй душу чистую», как сказано в стихе Софии Премудрости.

II

Надо ждать, что в близком будущем кто-то, мужественный и честный, напишет грустную книгу «Разрушение личности» и в этой книге ярко покажет нам неуклонный процесс духовного обеднения человека, неустранимое сжатие «я».

В процессе этом решительную роль играл XIX век — он был экзаменом психической устойчивости всемирного мещанства и обнаружил его ничтожные способности к творчеству жизни.

Развитие техники? Конечно — да, это огромная работа. Но о технике можно сказать, что она «сама себе довлеет», ибо она — результат творчества не личного, а коллективного, она развивается и растет на фабрике, среди рабочих, в кабинетах же только обобщают, организуют новые данные, добытые коллективом, — опыт масс, не имеющих времени для самостоятельного синтеза своих наблюдений и знаний и принужденных отдавать все богатство опыта своего в чужие руки. Открытия в области естествознания, подводя итоги росту техники, тоже лишь формально являются делом личности. Посмотрите, насколько явно коллективный

характер носят открытия последнего времени в области строения материи! И, несмотря на упорное стремление индивидуализма комбинировать данные естественных наук антидемократически, естествознание не подчиняется этим усилиям исказить его коллективно созданное содержание — оно все более определенно слагается монистически, постепенно становясь глубоким и мощным фундаментом социализма, — факт, объясняющий крутой поворот буржуазии от естествознания снова к метафизике.

Командующие классы всегда стремились к монополии знания и всячески прятали его от народа, показывая ему кристаллизованную мысль только как орудие укрепления своей власти над ним. XIX век разоблачил эту пагубную политику, обнаружив в Европе недостаток интеллектуальной энергии; буржуазия сделала слишком большую работу по развитию промышленности и торговли, она, очевидно, вложила в нее весь свой запас духовных сил — и ясно, что ныне она психически надорвалась.

Народ не приобщали к науке, что необходимо для общего успеха борьбы за жизнь; не приобщали, боясь, что он, вооруженный знанием, откажется работать; не заботились увеличить количество духовной энергии — и недостаток количества привел мещан к быстрому понижению качества творческих сил.

Жизнь становилась все сложнее и строже,

техника с каждым десятилетием все ускоряла — и ускоряет, и будет ускорять — ее ход. От личности, которая хочет занимать командующую позицию, каждый новый деловой день и год требуют все большего напряжения сил. Еще в начале прошлого века мещанин, только что освободившийся из тяжелых пут дворянского государства, был достаточно свеж, силен и хорошо вооружен, чтобы бороться за свой счет, — условия производства и торговли не превышали единоличных сил. Но по мере роста техники, конкуренции и жадности буржуа, по мере развития в мещанине сознания своего главенства и стремления навеки укрепить за собою эту позицию золотом и штыком, по мере неизбежного обострения анархии производства, увеличивающей трудности разрешения этих задач, — растет и несоответствие индивидуальных сил с запросами дела. Бешеная работа нервов вызывает истощение, односторонне упражняемое мышление делает человека уродом, создается психика крайне неустойчивая; мы видим, как растет среди буржуазии неврастения, преступность и наблюдаем типичных вырожденцев уже в третьих поколениях буржуазных семей. Замечено, что процесс дегенерации наиболее успешно развивается среди буржуазных семей России и Америки. Эти исторически молодые страны наиболее быстрого капиталистического развития дают

огромный процент психических заболеваний среди финансовой и промышленной буржуазии. Здесь, очевидно, сказывается недостаток исторической тренировки, люди оказываются слишком слабосильными перед капиталом, который, являсь к ним во всеоружии, поработил их и быстро исчерпывает недостаточно гибко развитую энергию. Специализуясь, человек необходимо ограничивает рост своего духа, но специальность неизбежна для мещанина, он должен неустанно ткать свою однообразную паутину, если хочет жить. Анархия — вот признанный и неоспоримый результат мещанского творчества, и именно этой анархии мы обязаны все острее ощущаемой убылью души.

Быстро истощая небольшой запас интеллектуальных сил мещанства, капитал организует рабочие массы и в лице их ставит перед мещанином новую враждебную силу — социалистическую партию; этот враг более настойчиво, чем все иные причины, понуждает капиталиста чувствовать силу коллектива, внушая ему новую тактику борьбы — локауты и тресты.

Но капиталистические организации необходимо суживают личность; подчиняя ее индивидуалистические стремления своим целям, подавляя инициативу, они развивают в личной психике пассивность.

Миллионер Гульд метко определил трест как группу непримиримых врагов, которые

«собрались в одной тесной комнате, ярко осветили ее, держат друг друга за руки и только поэтому не убивают один другого. Но каждый из них зорко ждет момента, когда можно будет напасть враспloch на временного и невольного союзника, обезоружить, уничтожить его, и каждому — друг рядом с ним кажется опаснее врага за стеною». В такой организации врагов силы личности не могут развиваться, ибо, несмотря на внешнее единство интересов, внутренне здесь — каждый сам по себе и сам для себя. Организация рабочих ставит своей целью борьбу и победу; она внутренне спаяна единством опыта, который постепенно и все определеннее сознается ею как великая монистическая идея социализма. Здесь, под влиянием организующей силы коллективного творчества идей, психика личности строится своеобразно гармонично: существует непрерывный обмен интеллектуальных энергий, и среда не стесняет роста личности, но заинтересована в свободе его, ибо каждая личность, воплотившая в себе наибольшее количество энергии коллектива, становится проводником его веры, пропагандистом целей и увеличивает его мощь, привлекая к нему новых членов. Организация капиталистов психически строится по типу «толпы»: это группа личностей, временно и непрочно связанных единством тех или иных внешних интересов, а порою единством

настроения — тревогой, вызванной ощущением опасности, жадностью, увлекающей на грабеж. Здесь нет творческой, то есть социальной, связующей идеи и не может быть длительного единства энергии — каждый субъект является носителем грубо и резко очерченного самодовлеющего «я»; нужно много сильных давлений и могучих толчков извне, чтобы углы каждого «я» сгладились и люди могли сложиться в целое, более или менее стройное и прочное. Здесь каждый является вмещением некоего мелкого своеобразия, каждый ценит себя как нечто совершенное, чему не суждено повториться, и, принимая свое духовное уродство, свою ограниченность за красоту и силу, каждый напряженно подчеркивает себя и отъединяет от других. В такой анархической среде уже нет места и нет условий для развития ценного и целостного «я»; в ней не может гармонично развиваться и свободно расти всеобъемлющая личность, неразрывно связанная со своим коллективом, непрерывно насыщаемая его энергией и гармонично организующая его живой опыт в формы идей и символов.

Внутри такой среды идет хаотический процесс всеобщего пожирания: человек человеку враг, каждый рядовой грязной битвы за сытость сражается в одиночку, поминутно оглядываясь в опасении, чтоб тот, кто стоит рядом, не схватил за горло. В этом хаосе однообразной

и злой борьбы лучшие силы интеллекта, как уже сказано, уходят на самозащиту от человека, творчество духа целиком расходуется на устройство маленьких хитростей самообороны и продукт человеческого опыта, именуемый «я», становится темной клеткой, в коей бьется некое маленькое желание не допускать дальнейшего расширения опыта, ограничивая его тесными и крепкими стенками этой клетки. Что нужно человеку, кроме сытости? В погоне за нею он вывихнул себе мозг, разбился и стонет и кричит в агонии.

Личные мелкие задачи каждого «я» заслоняют сознание общей опасности. Обессилевшее мещанство уже неспособно выдвигать из своей среды достаточно энергичных выразителей его желаний, защитников его власти, как в свое время выдвинуло Вольтера против феодалов, Наполеона против народа.

Обнищание мещанской души доказывается тем, что идеологические попытки мещан, ранее имевшие целью укрепить данный строй, ныне сводятся к попыткам оправдать его, становятся все хуже и бездарнее. Уже давно ощущается нужда в новом Канте — его все нет, а Ницше — неприемлем, ибо он требует от мещанина активности. Единственным орудием самозащиты мещанства является цинизм; он — страшен, знаменует собою отчаяние и безнадежность.

Но, скажут, несмотря на слабость матери-

ала, капиталистическое общество держится крепко. Держится тяжестью своей, по инерции и при помощи таких контрфорсов, замедляющих его тяготение к распаду, каковы — полиция, армия, церковь и система школьного преподавания. Держится потому, что еще не испытало стройного напора враждебных ему сил, достаточно организованных для разрушения этой огромной пирамиды грязи, лжи и злобы и всяческого нечестия. Держится, но... разлагается, отравляемое выработанными им ядами, из них же первый — нигилистический, всё, кроме «ячности» и «самости», с отчаянием отрицающий индивидуализм.

Но обеднение личности еще более заметно, если мы взглянем на ее портреты в литературе.

До сорок восьмого года командующую роль в жизни играли Домби и Гранде, фанатики стяжания, люди крепкие и прямые, как железные рычаги. В конце XIX века их сменяют не менее жадные, но несравненно более нервные и шаткие Саккар и герой пьесы Мирбо «*Les affaires sont les affaires*».

Сравнивая каждый из этих типов как поток воли, направленной к достижению известных целей, мы увидим, что чем глубже в прошлое, тем более крепко концентрирована и активна воля, тем строже и определеннее очерчены цели личности и ярче сознательность ее действий. А чем ближе к нам, тем менее упорна

энергия Саккаров, тем скорее изнашивается их нервная система, все более тусклы характеры и быстрее наступает утомление жизнью. В каждом из них заметна драма двойственности, столь пагубная для человека дела. Гибнут Саккары гораздо более быстро, чем гибли их предки. Домби погубил Диккенс для торжества морали, для доказательства необходимости умерить эгоизм, Саккары и Рошеты гибнут не по воле Золя — их обессиливает и уничтожает беспощадная логика жизни.

Переходя от литературы к «живому делу», снова сошлюсь на старого Гульда: умирая, он сказал: «Если бы я неправильно и незаконно нажил мои миллионы, их давно отняли бы у меня». Здесь звучит вера сильного в силу как закон жизни. Наш современник, мистер Д. Рокфеллер, уже считает необходимым жалобно и жалко оправдываться пред всем миром в непомерном своем богатстве, он доказывает, что обворовал людей ради их же счастья. Разве это не ярко рисует понижение типа?

Далее, в лице героя «*Le Rouge et le Noir*» перед нами человек сильной воли, грубый мешанин-победитель. Но уже на следующем плане, ближе к нам, стоит Растиньяк Бальзака; жадный, слабовольный, он изнашивается позорно быстро и погибает, вышвырнутый за двери жизни, хотя среда сопротивлялась его желаниям не так упорно, как она сопротивлялась

герою Стендаля. Люсьен еще менее устойчив, чем Растиньяк, но вот Люсьена сменяет «Bel ami», прототип современных государственных людей Франции. «Bel ami» победил, он у власти. Но до какой же степени упала способность мещан к самозащите, если они вручают судьбы свои в руки столь ненадежных людей!

Когда, опираясь на силу народа, мещанство победило феодалов, а народ немедленно и настойчиво потребовал от победителей удовлетворения своих реальных нужд, мещанство испугалось, видя перед собою нового врага, — старая сказка, вечно и все чаще обновляемая мещанином. Испугавшись, мещанин круто повернул от идей свободы к идее авторитета и отдал себя сначала Наполеону, затем Бурбонам. Но внешнее сплочение, внешняя охрана не могли остановить процесс внутреннего развала.

Строй взглядов мещанина, его опыт, обработанный Монтескье, Вольтером, энциклопедистами, имел в самом себе нечто дисгармоничное и опасное — разум, который говорил, что все люди равны, и, опираясь на силу коего, народные массы снова, уже в более настойчивой форме, могли предъявить требование полного политического равенства с мещанином, а затем приняться за осуществление равенства экономического.

Таким образом, разум резко противоречит интересам мещанства, и оно, не медля, при-

нялось изгонять врага, ставя на его место веру, которая всегда успешнее поддерживает авторитет. Стали доказывать общую неразумность миропорядка — это хорошо отвлекает от мышления о неразумности порядка социального. Мещанин ставил себя в центр космоса, на вершину жизни, и с этой высоты осудил и проклял вселенную, землю, а главным образом — мысль, пред которой он еще недавно идолопоклонствовал, как всегда заменяя непрерывное исследование мертвым догматизмом.

В речах Байрона звучал протест старой аристократической культуры духа, пламенный протест сильной личности против мещанского безличия, против победителя, серого человека золотой середины, который, зачеркнув кровавой, жадной лапой девяносто третий, хотел восстановить восемьдесят девятый, но против воли своей вызвал к жизни сорок восьмой. Уже в двадцатых годах столетия «мировая скорбь» Байрона превращается у мещан в то состояние психики, которое Петрарка называл «*acedia*» — кислота — и которое Фойгт определяет как «вялое умственное равнодушие». Наш талантливый и умный Шахов, может быть, несколько упрощенно говорит об этом времени: «Пессимизм двадцатых годов сделался модой: скорбел всякий дурак, желавший обратить на себя внимание общества».

Мне кажется, что у «дурака» были вполне серьезные причины для скорби, — он не мог не чувствовать, как неизбежно новые условия жизни, ограничивая развитие его духовных сил, направляя их в тесное русло все более растущего торгашества, — как эти условия действительно дурманят, одурачивают, унижают его.

Ролла Мюссе еще кровный брат Манфреда, но «сын века» уже явно и глубоко поражен «*acedia*», Рене Шатобриана мог убежать от жизни, «сыну века» некуда бежать — кроме путей, указанных мещанством, иных путей нет для его сил.

Мы видим, что «исповедь сына века» бесчисленно и однообразно повторяется в целом ряде книг, и каждый новый характер этого ряда становится все беднее духовной красотой и мыслью, все более растрепан, оборван, жалок. Грелу Бурже — дерзок, в его подлости есть логика, но он именно «ученик»; герой Мюссе мыслил шире, красивее, энергичнее, чем Грелу. Человек «без догмата» у Сенкевича еще слабее силами, еще одностороннее Грелу, но как выигрывает Леон Плошовский, будучи сопоставлен с Фальком Пшибышевского, этой небольшой библиотекой модных, наскоро и невнимательно прочитанных книг!

Ныне линия духовно нищих людей обидно и позорно завершается Саниным Арцыбашева. Надо помнить, что Санин является уже не пер-

вой попыткой мещанской идеологии указать тропу ко спасению неуклонно разрушающейся личности, — и до книги Арцыбашева не однажды было рекомендовано человеку внутренне упростить себя путем превращения в животное.

Но никогда эти попытки не возбуждали в культурном обществе мещан столько живого интереса, и это, несомненно, искреннее, увлечение Саниным — неоспоримый признак интеллектуального банкротства наших дней.

Защищая свою позицию в жизни, индивидуалист-мещанин оправдывает свою борьбу против народа обязанностью защищать культуру — обязанностью, якобы возложенную на мещанство историей мира.

Позволительно спросить: где же культура, о близкой гибели которой под ногами новых гуннов все более часто и громко плачет мещанство? Как отражается в душе современного «героя» мещан всемирная работа человеческого духа, «наследство веков»?

Пора мещанству признать, что это «наследство веков» хранится вне его психики; оно в музеях, в библиотеках, но — его нет в духе мещанина. С позиции творца жизни мещанин ныне опустился до роли дряхлого сторожа у кладбища мертвых истин.

И уже нет у него сил ни для того, чтобы оживить отжившее, ни для создания нового.

Современный изолированный и стремящийся-

ся к изоляции человек — это существо более несчастное, чем Мармеладов, ибо поистине некуда ему идти и никому он не нужен! Опьяненный ощущением своей слабости, в страхе перед гибелью своей, какую ценность представляет он для жизни, в чем его красота, где человеческое в этом полумертвом теле с разрушенной нервной системой, с бессильным мозгом, в этом маленьком вместилище болезней духа, болезней воли, только болезней?

Наиболее чуткие души и острые умы современности уже начинают сознавать опасность: видя разложение сил человека, они единогласно говорят ему о необходимости обновить, освежить «я» и дружно указывают путь к источнику живых сил, способному вновь возродить и укрепить истощенного человека.

Уолт Уитмен, Горас Траубел, Рихард Демель, Верхари и Уэллс, А. Франс и Метерлинк — все они, начав с индивидуализма и квиетизма, дружно приходят к социализму, к проповеди активности, все громко зовут человека к слиянию с человечеством. Даже такой идолопоклонник «я», как Август Стриндберг, не может не отметить целительной силы человечества. «Человечество, — говорит он, — ведь это огромная электрическая батарея из множества элементов; изолированный же элемент — тотчас теряет свою силу».

Но эти добрые советы умных людей едва ли

услышат глухие. И если услышат — какая польза от этого? Чем отзовется безнадежно больной на радостный зов жизни? Только стоном.

Наиболее ярким примером разрушения личности стоит предо мною драма русской интеллигенции. Андреевич-Соловьев назвал эту драму романом, в котором Россия — «Святая Ефросинья», как именовал ее Глеб Успенский, — возлюбленная, а интеллигент — влюбленный.

Мне хочется посильно очертить содержание той главы романа, вернее, акта драмы, которая столь торопливо дописывается в наши дни нервно дрожащею рукою разочарованного влюбленного.

Чтобы понять психику героя, сначала необходимо определить его социальное положение.

Известно, что интеллигент-разночинец несколько недоношен историей; он родился ранее, чем в нем явилась нужда, и быстро разросся до размеров больших, чем требовалось правительству и капиталу; ни первое, ни последний не могли поглотить все свободное количество интеллектуальных сил. Правительство, напуганное дворянскими революциями дома и народными бурями за рубежом, не только не выражало желания взять интеллигента на службу и временно увеличить его умом и работой свои силы — оно, как известно, встретило новорожденного со страхом и немедленно приступило к борьбе с ним по способу Ирода.

Молодой, но ленивый и стесненный в своем росте русский капитал не нуждался в таком обилии мозга и нервов.

Позиция интеллигента в жизни была столь же неуловима, как социальное положение бесприютного мещанина в городе: он не купец, не дворянин, не крестьянин, но — может быть и тем, и другим, и третьим, если позволят обстоятельства.

Интеллигент имел все психофизические данные для сращения с любым классом, но именно потому, что рост промышленности и организация классов в стране развивались медленнее количественного роста интеллигенции, он принужден был самоопределиться вне рамок социально родственных ему групп. Перед ним и разоренным крестьянской реформой «кающимся дворянином» стояли незнакомые западному интеллигенту острые вопросы: «Куда идти? Что делать?»

Необходимо было создать какую-то свою, идеологическую мещанскую управу, и она была построена в виде учения «о роли личности в истории», которое гласило, что общественные цели могут быть достигнуты исключительно в личностях.

Единственно возможное направление было ясно: надо идти в народ, дабы развить его правосознание и, увеличив свои силы за счет его энергии, понудить правительство к дальней-

шим реформам и ускорить темп культурного развития страны; это могло бы дать тысячам личностей вполне уютное и достойное их место в жизни.

Тот факт, что интеллигенту некуда было идти, кроме как «в народ», и что «герой» искал «толпу», понуждаемый необходимостью, не особенно четко отмечен русской литературой, но зато в ней множество гимнов герою, который «во имя великой святыни» отдавал свою жизнь трудному делу организации народных сил.

Раздвоение психики интеллигента началось во дни его ранней юности, с того момента, когда он был поставлен в необходимость принять как руководящую теорию социализм.

Сознание организует далеко не всю массу личного опыта, и редкие люди могут победоносно противопоставить результаты своих личных впечатлений бытия той крепкой социальной закваске, которая унаследована ими от предков. Устойчива и продуктивна в творчестве лишь та психика, в которой сознание необходимости гармонично сливается с волей человека, с его верою в целостное, крепкое «я». Помимо того, что общие социально-экономические условия жизни строят нашу психику индивидуалистически, частные причины домашнего характера значительно увеличивали тяготения русского интеллигента в эту сторону, настойчиво внушая ему сознание его культурного

первенства в стране. Он видел вокруг себя: правительство, занятое исключительно делом самозащиты, земельное дворянство, экономически и психически разлагавшееся, промышленный класс, который не спешил организовать свои силы, продажное и невежественное чиновничество, духовенство, лишенное влияния, подавленное государством и тоже невежественное.

Естественно, что интеллигент почувствовал себя свежее, моложе, энергичнее всех, залюбовался собою и несколько переоценил свои силы.

Весь этот груз тяжелых, жадных и ленивых тел лежал на плечах таинственного мужика, который в прошлом выдвигал Разиных и Пугачевых, недавно выдал у дворян земельную реформу и с начала века стал развивать в своей среде рационалистические секты.

Земельное дворянство, чувствуя, что с Запада все сильнее веет пагубный для него дух промышленного капитализма, старалось оградить Россию частоколом славянофильства; его работа внушила интеллигенту убеждение в самобытности русского народа, чреватой великими возможностями. И вот, наскоро вооружась «социализмом по-русски», в этих легких доспехах рыцарь встал лицом к лицу с темным, добродушным и недоверчивым русским мужиком. Но почему же он, резкий индивидуалист, принял теорию, враждебную строю его психи-

ки? А какие же иные дрожжи могли бы поднять густую и тяжелую опару народной массы?

Здесь, на примере неотразимо ярком, мы видим плодотворное влияние социальной идеи на психику личности: мы видим, как эта идея с чудесной быстротою превратила бесприютного разночинца-интеллигента в идеалиста и героя, видим, как печальное детище рабьей земли, ощутив творческую силу коллективного начала, психически сложилось под его чудотворным влиянием в тип борца, редкий по красоте и энергии. Семидесятые годы стоят пред нами как неоспоримое доказательство такого факта: только социальная идея возводит случайный факт личного бытия человека на степень исторической необходимости, только социальная идея поэтизирует личное бытие и, насыщая единицу энергией коллективной, придает бытию индивидуальному глубокий, творческий смысл.

Герой был разбит и побежден?

Да. Но разве это уничтожает необходимость и красоту борьбы? И разве это может поколебать уверенность в неизбежности победы коллективного начала?

Герой был побежден — слава ему вовеки! Он сделал все, что мог.

Человек вчерашнего дня, он встал перед мужиком, который имел свою историю — тягостную и долгую историю борьбы с непрерыв-

ными дьявольскими кознями нечистой силы, воплощенной в лесах, болотах, татарах, боярах, чиновниках и вообще — господах. Он крепко оградился от беса, источника всех несчастий, полуязыческой, полухристианской религией и жил скрытной жизнью много испытавшего человека, который готов все слушать, но уже никому не верит.

Наша литература посвятила массу творческой энергии, чтобы нарисовать эту таинственную фигуру во весь рост, бесконечное количество анализа, чтобы раскрыть, осветить душу мужика. Дворяне изображали его боголюбивым христианином, насквозь пропитанным кротостью и всепрощением, — это естественно с их стороны, ибо, столь много согрешив перед ним, дворяне, может быть, вполне искренно нуждались в прощении мужика.

Литература старых народников рисовала мужичка раскрашенным в красные цвета и вкусным, как вяземский пряник, коллективистом по духу, одержимым активной жаждою высшей справедливости и со священной радостью принимающим каждого, кто придет к нему «сеять разумное, доброе, вечное».

И лишь в девяностых годах В.Г. Короленко ласковою, но сильной рукой великого художника честно и правдиво нарисовал нам мужика действительно во весь рост, дал верный очерк национального типа в лице ветлужского му-

жика Тюлина. Это именно национальный тип, ибо он позволяет нам понять и Мининых, и всех ему подобных героев на час, всю русскую историю и ее странные перерывы. Тюлин — это удачливый Иванушка-дурачок наших сказок, но Иванушка, который уже не хочет больше ловить чудесных Жар-птиц, зная, что, сколько их ни поймай, господишки все отнимут. Он уже не верит Василисе Премудрой: неизмеримое количество бесплодно затраченной силы поколебало сказочное упорство в поисках счастья. Думая о Тюлине, понимаешь не только наших Мининых, но и сектантов Сютяева и Бондарева, бегунов и штунду, а чувствительный и немножко слабоумный Платон Каратаев исчезает из памяти вместе с Акимом и другими юродивыми дворянского успокоения ради, вместе с милыми мужичками народников и иными образами горячо желаемого, но — нереального.

Пропагандист социализма встретился с Тюлиным; Тюлин не встал с земли, не понял интеллигента и не поверил ему — вот, как известно, драма, разбившая сердце нашего героя.

Немедленно вслед за этим поражением, на открытии памятника Пушкину, прозвучала похоронная речь Достоевского, растравляя раны побежденных, как соль, а вслед за этим раздался мрачный голос Толстого. После гибели сотен юных и прекрасных людей, после десятилетия героической борьбы величайшие гении

рабьей земли в один голос сказали: «Терпи. Не противься злу насилеием».

Я не знаю в истории русской момента более тяжелого, чем этот, и не знаю лозунга, более обидного для человека, уже заявившего о своей способности к сопротивлению злу, к бою за свою цель.

Восьмидесятые годы наметили три линии, по коим интеллигент стремился к самоопределению: народ, культуртрегерство и личное самоусовершенствование. Эти линии сливались, стройно замыкаясь в некий круг: народ продолжали рассматривать как силу, которая, будучи организована и определенно направлена интеллигенцией, может и должна расширить узкие рамки жизни, дать в ней место интеллигенту; культуртрегерство — развитие и организация правосознания народа; самоусовершенствование — организация личного опыта, необходимая для дальнейшей продуктивности «мелких дел», направленных на развитие народа.

Но под этой внешней стройностью бурно кипел внутренний душевный разлад. Из-под тонких, изношенных масок социализма показались разочарованные лица бесприютных мещан — крайних индивидуалистов, которые не замедлили из трех линий остановиться на одной и с жаром занялись упорядочением потрясенных событиями душ своих. Начался усерд-

ный анализ пережитого, остатки старой гвардии называли аналитиков «никудашниками» и «Гамлетами на грош пара», как выразился автор одного искреннего рассказа, помещенного в «Мысли» Л. Оболенского. Новодворский метко назвал интеллигента тех дней «ни павой ни вороной». Но скоро эти голоса замолкли в общем шелесте «самоусовершенствования», и русский интеллигент мог беспрепятственно «ставить ребром последний двугривенный своего ума» — привычка, которую отметил в нем еще Писарев.

Он, не щадя сил, торопился поправить и так же судорожно, как и в наши дни, рвал путы социализма, стремясь освободить себя — для чего? Только для того, чтобы в середине девяностых годов, когда он усмотрел в жизни страны новый революционный класс, снова быстро надеть эти путы на душу свою, а через десять лет снова и столь же быстро сбросить их! «Сегодня блондин, завтра — брюнет», — грустно и верно сказал о нем Н.К. Михайловский.

Итак, он начал править. Этим занятием сильно увлекались, и оно дает целый ряд курьезных совпадений, которые нелицеприятно указывают на единство психики интеллигента того времени и текущих дней, с тою разницею, что восьмидесятник был более скромн, не так «дерзок на руку» и груб, как наш современник.

Приведу несколько мелких примеров этих

совпадений: почтенный П.Д. Боборыкин напечатал в «Русской мысли» восьмидесятых годов рассказ «Поумнел» — рассказ, в котором автор осуждал героя своего за измену еще недавно «святым» идеалам.

Г. Емельяниченко в одной из книжек «Вестника Европы» за 1907 год поместил рассказ «Поправел», но — одобряет своего героя, социалиста и члена комитета партии, за то, что герой пошел служить в департамент какого-то министерства.

Шум, вызванный «Учеником» Бурже, как нельзя более похож на восхищение, вызванное «*Homo Sapiens*»'ом Пшибышевского.

Внимание к «Сашеньке» Дедлова прекрасно сливается с увлечением «Саниным» — с тою разницей, что Сашенька в наглости своей наивнее Санина.

Политические эволюции господина Струве невольно заставляют вспомнить «эволюцию» Льва Тихомирова, а момент, когда господин Струве позвал «назад к Фихте», вызывает в памяти недоумение, вызванное господином Волынским с его проповедью идеализма*.

Порнографии было меньше, она сочинялась только господами Серафимом Неженатым и Лебедевым-Морским, но так же гадко и тя-

* Разумеется, я принимаю, что девяностые годы психически начались ранее 1 января 1890 года, а восьмидесятые еще не кончились 31 декабря 1889 года, — календарь и психика всегда находятся в некотором разноречии.

жело, как и современными ремесленниками этого цеха.

Пунктом объединения ренегатов явилось «Новое время»; в наши дни мы имеем несколько таких пунктов — указывает ли это на количественный рост интеллигенции или же на упадок ее силы сопротивления соблазнам уютной жизни?

«Неделя» Меншикова идейно воскресла в лице «Русской мысли»; проповедь «мелких дел» уже стократ повторена ныне, и тысячекратно повторяется лозунг восьмидесятников: «Наше время — не время широких задач».

Эти до мелочей доходящие совпадения достаточно определенно подтверждают факт стремления интеллигента после каждой встречи с народом «возвратиться на круги своя» — от разрешения проблемы социальной к разрешению индивидуальной проблемы.

В восьмидесятых годах жизнь была наполнена торопливым подбором книжной мысли; читали Михайловского и Плеханова, Толстого и Достоевского, Дюринга и Шопенгауэра, все учения находили прозелитов и с поразительной быстротою раскалывали людей на враждебные кружки. Я особенно подчеркиваю быстроту, с которою воспринимались различные вероучения; в этом ясно сказывается нервная торопливость одинокого и несильного человека, который в борьбе за жизнь свою хватает

первое попавшееся под руку оружие, не соображая, насколько оно ему по силе и по руке. Этой быстротою усвоения теории не по силам и объясняются повальные эпидемии ренегатства, столь типичные для восьмидесятых годов и для наших дней. Не надо забывать, что эти люди учатся не ради наслаждения силою знания — наслаждения, которое властно зовет на борьбу за свободу еще большего, бесконечного расширения знаний, — учатся они ради узко эгоистической пользы, ради все того же «утверждения личности».

«Радикалы» превращались в «непротивленцев», «культурники» в «никудышников» — и один из честнейших русских писателей, святой человек Николай Елпидифорович Петропавловский-Каронин, говорил, конфузливо потирая руки:

— Чем им можешь? Ничем не можешь! Потому что как-то не жалко их, совсем не жалко!

Так же, как и теперь, развивался пессимизм; гимназисты так же искренно сомневались в смысле бытия Вселенной, было много самоубийств по случаю «мировой тоски»; говорили о религии, о боге, но находили и другой выход своему бессилию, скрывая его в стремлении «опроститься», и «садились на землю», устраивая «интеллигентские колонии».

Быть может, жизнь этих колоний наиболее

ярко вскрывает злейший, нигилистичий, наш самобытный индивидуализм: в них с поразительной быстротой выявлялась органическая неспособность интеллигента к дисциплине, к общежитию и немедленно черным призраком вставала роковая и отвратительная спутница русского интеллигента — позорно низкая оценка человеческого достоинства ближнего своего. Драма этих колоний начиналась почти с первых дней их основания: как только группа устремленных к «опрощению» людей начинала устраиваться «на земле» — в каждом из них разгоралось зеленым огнем болезненное, истерическое ощущение своей «самости» и «ячности». Люди вели себя так, как будто с них содрали кожу, обнажили нервы и каждое соприкосновение друг с другом охватывает все тело невыносимую жгучею болью. «Самосовершенствование» принимало характер каннибальства — утверждая некую мораль, люди воистину живьем ели друг друга. Острое ощущение своей личности вызывало в человеке истерическое неистовство, когда он видел столь же повышенную чуткость и в другом. Создавались отношения, полные враждебного надзора друг за другом, болезненной подозрительности, кошмарные отношения, насыщенные лицемерием иезуитов. В несколько месяцев физически здоровые люди превращались в неврастеников и, духовно из-

ломанные, расходились, унося более или менее открытое презрение друг к другу.

Мне кажется, что эти тяжкие драмы слагались так: представьте себе людей, которые считают себя лучшей силою земли, людей с развитою потребностью широкой духовной жизни. Подавляя эту потребность, они идут в темную, плохо знакомую им деревню и — с первого шага — попадают в круг явной и скрытой вражды к ним, «барам». Их теснит и душит насмешливое любопытство, подозрительность, недоброежелательство, оскорбляют презрительные улыбки мужиков при виде их неумения работать, физической слабости и неспособности открыться, понять его мужицкую, глубоко спрятанную душу. Первобытно грубая жизнь тянется изо дня в день с однообразием, которое давит интеллигента, хочет стереть его нервное лицо и уже медленно стирает тонкий слой европейской культуры с лица его души... Летом — каторжная работа и пожары, зимою — недоедание, болезни, по праздникам — пьянство и драки, и всегда перед глазами этот тяжелый, суеверный мужик. То назойливый попрошайка, то озорник и грубиян, он часто кажется близким животному и — вдруг поражает метким словом мудреца, верным суждением о порядках жизни, о себе самом и стоит уже полный неожиданно возникшим откуда-то из глубины его души сознанием своего достоинства. Он —

неуловим, непонятен и внушает интеллигенту спутанное чувство робости перед ним, удивления и еще каких-то ощущений, которые интеллигенту не хочется и трудно определить, но в которых мало лестного для мужика. Колонисты чувствуют себя жертвами какой-то ошибки, но гордость не позволяет им вскрыть ее. Заключение в одном доме, они живут всегда на виду друг у друга, и каждый напрягается, стараясь скрыть от других тихий, но настойчивый рост разочарования в своей задаче, в своих силах. Однако постепенно убыль души ощущается всеми, тогда каждый хочет проверить это опытами над товарищем.

За поведением и мыслью каждого устанавливается, по общему молчаливому соглашению, придирчивый надзор. Если чей-либо поступок нарушает принятую аскетическую норму — люди сладострастно судят и медленно распинают виновного, жадно наслаждаясь ролью истязателей. После суда отношения принимают еще более извращенный характер, в них скопляется еще больше лицемерия: под внешней кротостью кипит и все растет неприязнь, перерождаясь в ненависть.

«Борская колония» организовалась на глазах Н.Е. Каронина, при его участии; за жизнью ее он внимательно наблюдал. В то время как он писал о ней свой грустный рассказ, он говорил, смущенно улыбаясь:

— Оправдать их хочется, а — нечем оправдать! Слабые люди? Но — какое же это оправдание!

Может быть, здесь уместно будет указать, что наш интеллигентский индивидуализм неизбежно приводит людей в болезненное состояние, в высшей степени родственное истерии.

Признаки истерического состояния легко открыть у всех современных идеологов индивидуализма, будут ли это мистики, анархисты, христиане типа Мережковского и типа Свенцицкого — для всех них одинаково характерна чрезмерно легкая возбудимость психического аппарата, быстрая смена его возбуждений, настроения угнетающего свойства, отрывочный ход идей, социальная тупость и непосредственно рядом с нею — настойчивое стремление больного обратить стопами и криками своим внимание окружающих на него, на его, в большинстве случаев, вымышленные болевые ощущения.

Как иначе можно было бы объяснить недавнюю выходку одного из защитников культуры от нашествия «хама» — господина Мережковского, который прокричал на страницах «Русской мысли» нижеследующую, едва ли допустимую для культурного человека, фразу: «Разве умер Джордано Бруно? Еще бы не умер, издох, как пес, хуже пса, потому что животное не знает,

по крайней мере, что с ним делается, когда умирает, а Джордано Бруно знал».

Хорошо здесь «потому что», столь ярко вскрывающее основной тон «я» — безумный страх личного уничтожения, страх, который был неведом Джордано Бруно и никому из людей, которые умели любить. Этот страх физического уничтожения вполне естественен у людей, ничем не связанных с жизнью, и, разумеется, было бы бесполезно требовать от господ Мережковских уважения к великим именам и великим подвигам; может ли быть это уважение в душе человека, который сам сознается:

«Говоря откровенно, мне бы хотелось, чтобы с моим уничтожением — всё уничтожилось; впрочем, так оно и будет: если нет личного бессмертия, то со мною для меня все уничтожится».

Ясно, что столь низкий строй души низводит «я» на плоскость, с которой оно уже не может заметить разницы между смертью на костре и потоплением в помойной яме, между великой душой, любовно обнявшей весь видимый мир, и собою — микроорганизмом, носителем психической заразы.

И когда люди типа господина Мережковского кричат и ноют о необходимости защиты «культурных ценностей», «наследства веков», то им не веришь.

Странные это существа. Они суетливо кру-

жаты у подножия самых высоких колоколен мира, кружатся, как маленькие собачки, визжат, лают, сливая свои завистливые голоса со звоном великих колоколов земли; иногда от кого-нибудь из них мы узнаем, что кто-то из предков Льва Толстого служил в некоем департаменте, Гоголь обладал весьма несимпатичными особенностями характера, узнаем массу ценных подробностей в таком же духе, и хотя, может быть, все это правда, но — такая маленькая, пошлая и ненужная...

Продолжая параллель между восьмидесятыми годами и текущим моментом, надо заметить, что интеллигентское «я» того времени было все-таки более чутким этически — в нем еще заметна здоровая брезгливость юности, оно не проповедовало педерастии и садизма, не смаковало картины насилия женщин, — хотя этому, может быть, мешала только цензура? Оно «правело», сконфуженно оглядываясь, а становясь «правым» — стыдилось клеветать на бывших товарищей так цинично, как это делается теперь.

Интеллигент в этой стыдливости и нерешительности показать себя доходил даже до следующего: когда уже в девяносто втором году вышла книжка «Вопросов философии и психологии» со статьями Лопатина, Грота и, кажется, Трубецкого или Введенского о Ницше, многие из молодежи того времени, стараясь

скрыть свое желание познакомиться со взглядами еретика, антисоциалиста, читали книжку тайно, как бы боясь оскорбить своих учителей, старых радикалов, заставлявших читать Чернышевского и Лаврова, Михайловского и Плеханова. Разумеется, это смешно, в этом чувствуется слишком ничтожное сознание своего достоинства и своей внутренней свободы, но, может быть, в душу человека тех дней сквозь хлам разрушенной жизни еще просачивалось инстинктивное ощущение спасительности старого пути к народу, к массе, к созданию оплодотворяющего личность коллектива — прямого пути от демократизма к социализму.

В ту пору, как и ранее, интеллигент ясно видел, что в стране нет хозяина. Смутное чувство необходимости немедленного и энергичного решения социальных задач еще тлело в нем, и, как ранее, он продолжал сознавать себя единственным носителем интеллектуальной энергии страны.

На рынке жизни он был более, чем теперь, «продуктом без спроса»: правительство еще озлобленнее, чем раньше, отрицало его, земство и капитал не могли использовать эту силу в той мере, какой требовали уже изменившиеся условия жизни — рост фабрики и развитие культурных запросов деревни.

Взгляд на эпоху восьмидесятых годов как на время квиетизма, пессимизма и всяческого

уныния несколько преувеличен, мне кажется, хотя, может быть, это лишь потому, что наше «сегодня» решительно хуже вчерашнего дня, ибо ко всем прелестям накопленного ныне присоединен еще и возродившийся грубый, уличный нигилизм, переходящий уже в явное хулиганство. Если вспомнить работу «третьего элемента» в земствах, Вольно-экономическом обществе и комитетах грамотности, исследования по вопросам об артелях, о местных и отхожих промыслах — мы увидим перед собою массу черного труда, который потребовал немало усилий и культурная ценность коего — вне спора.

Разумеется, и тогда, как теперь, прежде всего стремились подчеркнуть свое маленькое разногласие с другом и часто забывали о враге, и тогда каждый хотел выделить свою крошечную личность из ряда вполне подобных ей, но все это не носило столь анархического и противного вида, как в наши дни. Это не голословно и опирается на сравнение литератур того и данного момента.

Возьмем Меньшикова, которого ныне злее всех ругают те, кто становится этически похож на него, и ругают главным образом именно за это все возрастающее сходство; каков бы ни был Меньшиков теперь, но в ту пору его работа имела неоспоримое культурное значение: он отвечал запросам наиболее здоровой и трудоспо-

собной группы интеллигенции того времени — городским и сельским учителям. Сравните вариации на тему проповеди «мелких дел» у господ Струве и иже с ним — и вы признаете за Меньшиковым преимущество искренности, таланта, понимания настроения своей публики.

Невозможно представить, чтобы Меньшиков, редактор «Недели», допустил в своем журнале столь грубые выходки, как статья Чуковского о В.Г. Короленко, статья Мережковского о Л. Андрееве, Бердяева о революции и прочие выпады, допущенные «Русскою мыслью» наших дней.

Это одна из иллюстраций положения, которое я формулирую так: русский индивидуализм, развиваясь, принимает болезненный характер, влечет за собою резкое понижение социально-этических запросов личности и сопровождается общим упадком боевых сил интеллекта.

Возьмем такие произведения старой литературы, как «Бесы», «Взбаламученное море», «Обрыв», «Новь» и «Дым», «Некуда» и «На ножах»; мы увидим в этих книгах совершенно открытое, пылкое и сильное чувство ненависти к тому типу, который другая литературная группа пыталась очертить в образах Рахметова, Рябинина, Стожарова, Светлова и т.п. Чем вызвано это чувство ненависти? Несомненно,

тревогою людей, у которых более или менее прочно и стройно сложились свои взгляды на историю России, которые имели свой план работы над развитием ее культуры, и — у нас нет причин отрицать это — люди искренно верили, что иным путем их страна не может идти. У каждого из них «были идеи», и каждый оплатил свои идеи дороною ценою, как это известно; их «идеи» могли быть ошибочны, даже вредны стране, но в данном случае нас занимает не оценка идей, а степень искренности и умственной силы их носителей. Они боролись с радикализмом порою — грубо, порою, как Писемский, — грязно, но всегда открыто, сильно.

Современного литератора трудно заподозрить в том, что его интересуют судьбы страны. Даже «старшие богатыри», будучи спрошены по этому поводу, вероятно, не станут отрицать, что для них родина — дело в лучшем случае второстепенное, что проблемы социальные не возбуждают их творчества в той силе, как загадки индивидуального бытия, что главное для них — искусство, свободное, объективное искусство, которое выше судеб родины, политики, партий и вне интересов дня, года, эпохи. Трудно представить себе, что подобное искусство возможно, ибо трудно допустить на земле бытие психически здорового человека, который, сознательно или бессознательно, не тяготеет бы к той или иной социальной группе, не

подчинялся бы ее интересам, не защищал их, если они совпадают с его личными желаниями, и не боролся бы против враждебных ему групп. Может быть, этому закону не подчинены глухонемые от рождения, несомненно вне его стоят идиоты, и, как указано выше, из его круга вырываются хулиганы — хотя у хулиганов улиц и трущоб есть групповые организации — признак, что сознание необходимости социальных группировок не вполне отмерло даже в душе хулигана.

Но допустим, существует совершенно свободное и вполне объективное искусство — искусство, для которого все — равно и всё — равны.

Нуждается ли в доказательствах тот факт, что современному литератору психология революционера далеко «не всё равно», что она ему враждебна и чужда?

Уважая человека, надо думать, что большинство крупных писателей современности не станет отрицать факта: психика эта неприятна им, и они, по-своему, борются с нею. За последние годы каждый из них поторопился сказать «несколько теплых слов» об этом старом русском типе; посмотрим, насколько «объективно» и «внутренне свободно» их отношение к нему.

Толстой, Тургенев, Гончаров, даже Лесков и Писемский — внушили читателю весьма высокую оценку духовных данных революционера, читатель может уравновесить отрицатель-

ные характеры Достоевского положительными у Тургенева, Толстого и поправить преувеличения Лескова с Писемским из Болеслава Маркевича и Всеволода Крестовского; последние двое часто бывали объективнее первых двух.

По свидетельству всех этих писателей, революционер — человек неглупый, сильной воли и большой веры в себя; это враг опасный, враг хорошо вооруженный.

Современные авторы единогласно рисуют иной тип. Герой «Тьмы», несомненно, слабоумен; это человек больной воли, которого можно сбить с ног одним парадоксом. Революционеры «Рассказа о семи повешенных» совершенно не интересовались делами, за которые они идут на виселицу, никто из них на протяжении рассказа ни словом не вспомнил об этих делах. Они производят впечатление людей, которые прожили жизнь невероятно скучно, не имеют ни одной живой связи за стенами тюрьмы и принимают смерть, как безнадежно больной ложку лекарства.

Смешной и глупый Санин Арцыбашева на аршин выше всех социал-демократов, противопоставленных ему автором. В «Миллионах» социал-демократ — довольно темная личность, в «Ужасе» революционер — просто мерзавец. Люди «Человеческой волны» — сплошь трусы. Эсдечка Алкина Сологуба — что общего имеет она с женщинами русской революции?

И даже Куприн, не желая отставать от товарищей-писателей, предал социал-демократку на изнасилование паровой прислуге, а мужа ее, эсдека, изобразил пошляком.

Следуя доброму примеру вождей, и рядовой литератор тоже начал хватать революционера за пятки, более или менее бесталанно подчеркивая в нем все, что может затемнить и запачкать его человеческое лицо — может быть, единственно светлое лицо современности.

Этой легкой травле хотят придать вид полного объективизма, бросают грязью в лицо революционера как бы мимоходом и как бы между прочим. Изображают его разбитым, глупым, пошлым, но при этой дурной игре делают сочувственную мину старой сиделки, которой ненавистен ее больной.

Употребляя такие приемы унижения личности врага, какими не пользовались даже откровенные клеветники его — Клюшников, Дьяков и другие, — что защищают, ради чего злобятся современные авторы?

Это грустное явление может быть объяснено только тем, что господа писатели невольно подчинились гипнозу мещанства, которое, острожно пробираясь ко власти, отравляет по дороге всех и все. Это — упадок социальной этики, понижение самого типа русского писателя.

В истории развития литературы европейской наша юная литература представляет

собою феномен изумительный; я не преувеличу правды, сказав, что ни одна из литератур Запада не возникла к жизни с такою силою и быстротой, в таком мощном, ослепительном блеске таланта. Никто в Европе не создавал столь крупных, всем миром признанных книг, никто не творил столь дивных красот при таких неопишимо тяжких условиях. Это неизбежно устанавливается путем сравнения истории западных литератур с историей нашей; нигде на протяжении неполных ста лет не появлялось столь яркого созвездия великих имен, как в России, и нигде не было такого обилия писателей-мучеников, как у нас.

Наша литература — наша гордость, лучшее, что создано нами как нацией. В ней — вся наша философия, в ней запечатлены великие порывы духа; в этом дивном, сказочно быстро построенном храме по сей день ярко горят умы великой красоты и силы, сердца святой чистоты — умы и сердца истинных художников. И все они, правдиво и честно освещая понятое, пережитое ими, говорят: храм русского искусства строен нами при молчаливой помощи народа, народ вдохновлял нас, любите его!

В нашем храме чаще и сильнее, чем в других, возглашалось общечеловеческое — значение русской литературы признано миром, изумленным ее красотой и силою. Она сумела показать Западу изумительное, неизвестное

ему явление — русскую женщину, и только она умеет рассказать о человеке с такую неисчерпаемую, мягкой и страстной любовью матери.

Между оценкою литературы и нашей интеллигенции есть как бы противоречие, но это противоречие кажущееся. Психология старого русского литератора была шире и выше политических учений, которые тогда принимала интеллигенция. Попробуйте, например, уложить в рамки народничества таких писателей, как Слепцов, Помяловский, Левитов, Печерский, Гл. Успенский, Осипович, Гаршин, Потапенко, Короленко, Щедрин, Мамин-Сибиряк, Станюкович, и вы увидите, что народничество Лаврова, Юзова и Михайловского будет для них ложем Прокруста. Даже те, кого принято считать «чистыми народниками», — Златовратский, Каронин, Засодимский, Бажин, О. Забытый, Нефедов, Наумов и ряд других сотрудников «Отечественных записок», «Дела», «Слова», «Мысли» и «Русского богатства», — не входят в эти рамки — от каждого из них остается нечто, что дает нам право сказать так: старый писатель там, где политическое учение могло ограничить его художественную силу, умел встать над политикой, а не подчинялся ей рабски, как мы видим это в наши дни. Иными словами: старая литература свободно отражала настроения, чувства, думы всей рус-

ской демократии, современная же покорно подчиняется внушениям мелких групп мещанства, торопливо занятого делом своей концентрации, внутренне деморализованного и хватающего наскоро все, что попадет под руку, как хватало оно в восьмидесятих годах. Оно бросается от позитивизма в мистицизм, от материализма в идеализм, перебегает из одной старой крепости в другую, находит их непрочными для спасения своего, ныне строит новую — прагматизм, но — едва ли успеет спрятаться где-либо от внутренней своей разрухи.

Писатели наших дней услужливо следуют за мещанами в их суете и тоже мечутся из стороны в сторону, сменяя лозунги и идеи, как платки во время насморка. Но уже ясно, что самая крупная и бойкая мышь в голове современного писателя — антидемократизм.

Возьмите нашу литературу со стороны богатства и разнообразия типа писателя: где и когда работали в одно и то же время такие несоединимые, столь чуждые один другому таланты, как Помяловский и Лесков, Слепцов и Достоевский, Гл. Успенский и Короленко, Щедрин и Тютчев? Продолжайте эти параллели, и вас поразит разность лиц, приемов творчества, линии мысли, богатство языка.

В России каждый писатель был воистину и резко индивидуален, но всех объединяло одно упорное стремление — понять, почувствовать,

догадаться о будущем страны, о судьбе ее народа, об ее роли на земле.

Как человек, как личность писатель русский доселе стоял освещенный ярким светом беззаветной и страстной любви к великому делу жизни, литературе, к усталому в труде народу, грустной своей земле. Это был честный боец, великомученик правды ради, богатырь в труде и дитя в отношении к людям, с душою прозрачной, как слеза, и яркой, как звезда бледных небес России.

Всю жизнь свою, все силы сердца он трагично тратил на жаркую проповедь общечеловеческой правды, будил внимание к народу своему, но — не отделял его от мира, как Френсен отделяет немцев, Киплинг — англичан, как начинает отделять итальянцев д'Аннунцио.

Сердце русского писателя было колоколом любви, и вещей и могучий звон его слышали все живые сердца страны...

«Все это мне известно», — может сказать читатель.

Не сомневаюсь. Но я — для писателей говорю, мне кажется, что слава навалилась на них, обняла и, лаская, заткнула им уши жирными пальцами своими, пальцами сытой, распутной мещанки, чтобы не слышали они голосов, проклиняющих ее. Я знаю бывшее отношение читателя к писателю-другу, не раз видал, как, бывало, читатель, узнав, что N пьет, грустно

опускал голову, страдая за учителя и друга своего: с глубокою болью в сердце он понимал, что у N тысяча причин пить горькую чашу.

Думаю, что писатели наших дней при таких слухах о них вызывают у читателя только улыбку снисхождения. И это — в лучшем случае.

Что говорил, чему учил старый писатель?

«Верь в свой народ, создавший могучий русский язык, верь в его творческие силы. Помогай ему подняться с колен, иди к нему, иди с ним. Уважай подругу твою, прекрасную русскую женщину, учись любить в ней человека, товарища твоего в трудной работе строительства русской земли!»

Тысячи юношей пошли на этот зов, подняли вековую тяжесть, соединили передовые, лучшие силы народа и дали исконному врагу первый великий бой, и множество со славой погибло в бою. Но желаемое — совершилось, народ поднялся, осматривается, думает о новой неизбежной битве, ищет вождей, хочет слышать их мудрые голоса.

А вожди и пророки народа ушли в кабак, в публичный дом.

Я не хочу этими словами обидеть кого-либо — зачем мне это? Я просто указываю здесь на явление неоспоримое, всем известное, ибо о нем согласно свидетельствует и беллетристика, и критика, и газеты текущего времени. Если бы

это можно было написать, не искажая позорной правды, другими словами, — я написал бы.

Душа поэта перестает быть эоловой арфой, отражающей все звуки жизни — весь смех, все слезы и голоса ее. Человек становится все менее чуток к впечатлениям бытия, и в смехе его, слышном все реже, звучат ноты болезненной усталости, когда-то святая дерзость принимает характер отчаянного озорства.

Поэт превращается в литератора и с высоты гениальных обобщений неудержимо скользит на плоскость мелочей жизни, шевыряется среди будничных событий и, более или менее искусно обтачивая их чужой, заемной мыслью, говорит о них словами, смысл которых, очевидно, чужд ему. Все тоньше и острее форма, все холоднее слово и беднее содержание, угасает искреннее чувство, нет пафоса; мысль, теряя крылья, печально падает в пыль будней, дробится, становится безрадостной, тяжелой и больной. И снова — на месте бесстрашия скучное озорство, гнев сменен крикливою злостью, ненависть говорит хриплым шепотом и осторожно озирается по сторонам.

Для старых писателей типичны широкие концепции, стройные мировоззрения, интенсивность ощущения жизни, в поле их зрения лежал весь необъятный мир. «Личность» современного автора — это его манера писать, а личность — комплекс чувств и дум — становится все бо-

лее неуловимой, туманной и, говоря правдиво, жалкой. Писатель — это уже не зеркало мира, а маленький осколок; социальная амальгама стерта с него; валяясь в уличной пыли городов, он не в силах отразить своими изломами великую жизнь мира и отражает обрывки уличной жизни, маленькие осколки разбитых душ.

На Руси великой народился новый тип писателя — это общественный шут, забавник жадного до развлечения мещанства, он служит публике, а не родине, и служит не как судья и свидетель жизни, а как нищий приживал — богатому. Он публично издевается сам над собой, как это видно по «Календарю писателя», — видимо, смех и ласка публики дороже для него, чем уважение ее. Его готовность рассказывать хозяину своему похабные анекдоты должна вызывать у мещанина презрение к своему слуге.

Между прочими мерами степень собственного достоинства человека измеряется его презрением к пошлости. Современный русский «вождь общественного мнения» утратил презрение к пошлости: он берет ее под руку и вводит в храм русской литературы. У него нет уважения к имени своему — он беззаботно бросает его в ближайшую кучу грязи; без стыда и не брезгуя, ставит имя свое рядом с именами литературных аферистов, пошляков, паяцев и фокусников. Он научился ловко пи-

сать, сам стал фокусником слова и обнаруживает большой талант саморекламы.

Иногда и он крикливо, как попугай, порицает мещанство; мещанин слушает и улыбается, зная, что задорные эти слова — лай комнатной собачки и что сахаром ласки легко вызвать у нее благодарный визг.

Вспоминая грозные голоса львов старой литературы, мещанин облегченно вздыхает и гордо оглядывается: вот настали дни его царства — пророки умерли, скоморохи стоят на месте их и потешают его, жирную жабу, когда он устает душить правду, красоту, любовь.

Славная, умная Жорж Занд говорила: «Искусство не такой дар, который мог бы обойтись без широких знаний во всех областях. Надо пожить, поискать, нужно сперва многое пережить, много любить, страдать, не переставая в то же время упорно работать. Прежде чем пустить в ход шпагу, надо основательно научиться фехтовать. Художник, который исключительно художник, бессилен, то есть посредственен, или он вдается в крайность, то есть безумен».

Посредственности и безумцы — вот два типа современного писателя.

Момент, переживаемый нашей страной, требует от него больших знаний, энциклопедизма, но писатель, видимо, не чувствует этих требований.

Литература наша — поле, вспаханное великими умами, еще недавно плодородное, еще недавно покрытое разнообразными и яркими цветами, — ныне зарастает бурьяном беззаботного невежества, забрасывается клочками цветных бумажек — это обложки французских, английских и немецких книг, это обрывки идей западного мещанства, маленьких идеек, чуждых нам; это даже не «примирение революции с небом», а просто озорство, хулиганское стремление забросать память о прошлом грязью и хламом. Пришел кто-то чужой, и все чуждо ему, он пляшет на свежих могилах, ходит по лужам крови, и его желтое, больное лицо бесстыдно скалит гнилые зубы. Больной дикарь, он чувствует себя победителем и орет, орет, опьяненный радостью при виде людей, которые сегодня слушают его бессвязный крик; эфемерида — он живет шумом и блеском дня, не думая о том, что грозное завтра осудит его, горько и презрительно осмеет.

О чем говорит современный литератор?

— Что есть жизнь? — говорит он. — Все есть пища смерти, все. И хорошее и дурное, содеянное тобой, исчезнет со смертью твоею, человек. Все — равно, и все — равно ничтожны пред лицом смерти.

Слушая эти новые слова, мещанин одобрительно кивает головою: «Так, не стоит творить жизнь, и бесполезно стараться изменить ее,

добро и зло — равноценны. И зачем искать смысла дней? Примем и полюбим их такими, каковы они есть, наполним их всеми наслаждениями, доступными нам, и они будут легко и приятно поглощаться нами».

И, храбро преступая кодекс морали своей — уложение о наказаниях уголовных, — мещанин наполняет дни свои грязью, пошлостью, творит маленькие, гадкие грешки против тела и духа человеческого и — блаженствует.

Он бессмертен, мещанин; он живуч, как лопух; попробуй, скоси его, но, если не вырвешь корня — частной собственности, — он снова пышно разрастется и быстро задушит все цветы вокруг себя. Проповедь смерти полезна ему: она вызывает в душе его спокойный нигилизм и — только. Острой пряностью мышления о гибели всего сущего мещанство приправляет жирную и обильную пищу свою, побеждая пресыщение свое, а клиенты его, певцы смерти, господа Смертяшкины, действительно и неизлечимо отравляются страхом ее, бледнеют, вянут и жалобно кричат: «Погибаем, ибо нет личного бессмертия!»

Известно, что «шуты и дети часто говорят правду».

Чуковский торжественно возгласил унижающую человека и писателя «правду» о современной литературе: «„Ужас Бесконечного“ — стал теперь, если хотите, литературной модой. Лите-

раторы, поэты, художники обсасывают его, как леденец. И та литературная школа, с которой теперь все охотнее сближает свое имя Андреев, — она вся вышла из этого ужаса, питается им. Для того чтобы стать теперь истинным поэтом, нужно уметь ужаснуться. И Блока, и Белого, и Брюсова, и Леонида Андреева, как они ни различны, объединяет один этот животный ужас, который заставлял толстовского Ивана Ильича кричать протяжно и однотонно: „У-у-у-у!“

Они — как приговоренные к казни. И пусть Брюсов относится к ней бодро и строго, а Белый фиглярничает и строит палачу рожи, пусть Сологуб забегает за секунду до эшафота в свою пещеру, а Городецкий восторгается палачом и поет ему славословия — все это, в конце концов, — и эти безумные и мудрые слова, и эти кошмарные и строгие образы — все это одно: „У-у-у-у!“

И ничто другое. И великим ныне сочтем того, кто сумеет по-новому, с новым приливом ужаса выкрикнуть этот вопль, и величайшим будет тот, кто заставит и нас вопить за ним, без слов, без мыслей, без желаний:

— „У-у-у-у!“» (*Газета «Родная земля», № 2, 1907 года*).

Вот какова «правда» Чуковского, и, видимо, названные им авторы согласны с этим определением смысла их творчества — никто из них не возразил ему.

Когда наш старый писатель страдал от «зубной боли в сердце» — в честном и чутком сердце своем, — стон его муки сливался со стопами лучших людей земли, ибо он находился в неразрывном с ними духовном сосуществовании, и крик его был криком за всех.

Современный неврастеник возводит боль своих зубов — личный свой ужас пред жизнью — на степень мирового события; в каждой странице его книги, в каждом стихотворении ясно видишь искаженное лицо автора, его раскрытый рот, и слышен злой визг: «Мне больно, мне страшно, а потому — будь вы все прокляты с вашей наукой, политикой, обществом, со всем, что мешает вам видеть мои страдания!»

Нет самолюбца более жестокого, чем больной.

Благодарение мудрой природе: личного бессмертия нет, и все мы неизбежно исчезнем, чтобы дать на земле место людям сильнее, красивее, честнее нас — людям, которые создадут новую, прекрасную, яркую жизнь и, может быть, чудесною силою соединенных воль победят смерть.

Радостный привет людям будущего!

Признаком этического упадка в русском обществе является крутой поворот во взглядах на женщину.

Даже имея в виду хронически плохое состояние органа памяти у русских людей, надеюсь,

нет надобности напоминать им исторические заслуги русской женщины, ее великий социальный труд, ее подвиги. Начиная с Марфы Борецкой и Морозовой, кончая женщинами раскольничьих скитов и революционных партий, мы видим перед собою образ эпический.

Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой, великолепно и любовно очерченные старыми мастерами образа и слова, а еще точнее — музою новейшей русской истории.

Редко на протяжении трудного пути своего спрашивала она, «пняя»: «Долго ли муки сея, протопоп, будет?» Но когда ей говорили: «Марковна! До самая смерти», — она, «вздыхая», отвечала: «Добро, Петрович, ино еще побредем».

И вдруг — эта женщина, воистину добрый гений страны, ушла из жизни, исчезла, как призрак; на место ее ставят пред нами «кобыл»**, наделяют их неутолимою жаждою исключительно половой жизни, различными извращениями в половой сфере, заставляют

** Прошу заметить, что в этой статье я пользуюсь только теми грубостями, которые были уже употреблены ранее в журналах и газетах последнего времени.

сниматься нагими, а главным образом — предадут на изнасилование.

Последнее удовольствие приняло характер спорта: если А. насиловал одну женщину, Б. — трех, и если Г. — старушку тетку, Ф. — родную дочь. С поразительной быстротой мещанство, одолевшее писателей, заставило их изнасиловать женщин всех возрастов и во всех степенях родства. Теперь, чтобы избежать повторений, необходимо литераторам обратить свои творческие силы на щук, ворон и жаб, следуя примеру одной из своих групп, которая, будучи понуждаема запросами публики, серьезно приступила к изучению кошек.

Эта эпидемия порнографии, поразившая мозги наших литераторов, развилась так быстро и в таких грубых формах, что ошеломила честных людей, — не все же они побиты насмерть! — и до сей поры, очевидно, они не могут собраться с силами, чтобы протестовать против грязи, которою усердно пачкают русскую девушку, женщину и мать.

Если честные люди неясно видят источник отвратительного явления, их может, в данном случае, просветить немудрый господин Бердяев, читавший книгу Вейнингера еще до перевода ее на русский язык. Со свойственным неуклюжему россиянину грациозным умением носить на своих плечах тонкое платье, шитое западными портными и всегда уже несколько

засаленное мещанином Европы, с присущим господину Бердяеву талантом огрублять и опошлять все чужие слова и заемные мысли, он, горячий защитник «культурных ценностей», в одной из своих статей едва ли не первый высказал несколько ценных мыслей о женщине. Тон его статьи весьма напоминает времена борьбы нашей реакционной печати против «стриженных девок», «нигилисток», а тема («духовная организация женщины ниже, чем таковая же у мужчин») — доказывается по-австралийски, с позаимствованиями из туземно-австралийских взглядов на вопрос, из Домостроя и подобных сим источников.

Но важна не статья Бердяева, а мотив, побуждающий его и ему подобных, вчерашних блондинов, озаботиться ниспровержением установившегося отношения к женщине как духовно равноценному и социально равноправному товарищу.

Французы до сего дня прикованы к этому вопросу, немцы и теперь едва решаются касаться его, англичанин хотя и уступает женщине место рядом с собою, но делает это молча, неохотно подчиняясь напору необходимости, и, как заметно, он еще будет оспаривать завоевания женщины. Наша литература уже в конце первой половины XIX столетия поставила и быстро решила этот вопрос — одна из ее великих заслуг перед родиной. Вопрос не мог

быть решен иначе: малочисленность культурных сил, одиночество разночинца среди групп, которые презрительно отрицали его, — вся сумма условий, окружавших интеллигента в первые дни его борьбы за место в жизни, — внушили ему верный тон в вопросе о женщине, повелели признать ее силой, всячески равной ему.

Теперь он, должно быть, думает, что уже победил врага, и, как видно, старается превратить своих союзников — женщину и народ — в подданных, в рабов его милости. Это всегда так делалось, но — никогда не выполнялось столь скверно и цинично.

Мизогиния — нечто от плоти мещанской: женщина, помогавшая в борьбе, мешает победителю-мещанину спокойно пользоваться плодами его призрачной победы, ибо в процессе боя она развила в душе своей слишком высокие требования к мужчине — другу и союзнику.

Мещанство радо новому отношению к женщине и поощряет его, ибо оно возбуждает притупленную чувственность изношенного мещанского тела, — разве не забавно превратить врага в любовницу?

И в гнилых мозгах малокровных людей разгорается сладострастие, отравляя воображение картинами половой борьбы. А литераторы, снова вольно или невольно насыщаясь продуктами разложения мещанской души, пере-

носят их на бумагу, все более отравляя и себя, и окружающих.

На Кавказе, в Кабарде, еще недавно, по словам А. Веселовского, существовали гегуако, бездомные народные певцы. Вот как один из них определил свою цель и свою силу: «Я одним словом своим, — сказал он, — делаю из труса храбреца, защитника своего народа, вора превращаю в честного человека, на мои глаза не смеет показаться мошенник, я противник всего бесчестного, нехорошего».

Наши писатели, разумеется, считают себя выше «некультурного» поэта кабардинцев.

Если бы они действительно могли подняться на высоту его самооценки, если бы могли понять простую, но великую веру его в силу святого дара поэзии!

Теперь посмотрим, как относится наша интеллигенция к другому старому союзнику — мужику — и как относится к нему современная литература.

Лет пятьдесят мужика усиленно будили; вот — он проснулся, — каков же его психический облик?

Скажут: слишком мало времени истекло, не было еще возможности отметить изменения лица давно знакомого героя. Однако старая литература имела силы идти в ногу с жизнью, и у новой, очевидно, было время заметить в мужике кое-что; она о нем и говорила уже и говорит.

Но определенных ответов на вопрос — не дано, хотя по некоторым намекам молодых писателей уже видно, что ничего отрадного для страны и лестного для мужика они и не видят и не чувствуют.

Насколько обрисован мужик в журнальной и альманашной литературе наших дней — это старый, знакомый мужик Решетникова, темная личность, нечто зверообразное. И если отмечено новое в душе его, так это новое — пока только склонность к погромам, поджогам, грабежам. Пить он стал больше и к «барам» относится по шаблону мужиков чеховской новеллы «На даче», как об этом свидетельствует господин Муйжель в одноименном рассказе — автор, показания коего о мужике наиболее обширны.

Общий тон отношения к старому герою русской литературы — разочарование и грусть, уже знакомые по литературе восьмидесятых годов, когда тоже вздыхали: «Мы для тебя, Русь, старались, а ты... эх ты! Изменщица!»

И — так же ругались. Помню, как поразила меня одна фраза, сказанная уже в 92 году в кружке политических ссыльных по поводу холерных беспорядков на Волге. «Нет, для нашего мужика все еще необходим и штык и кнут!» — грустно сказал бывший ссыльный, очень симпатичный человек во всем прочем.

И слова его не вызвали протеста товарищей. Ныне при таком же молчании «культурного»

общества народ именуют «фефелой», «потревоженным зверем» и так далее***. Профессор П.Н. Милюков называет знамя величайшей идеи мира, способной объединить и объединяющей людей, «красной тряпкой», идейных врагов — «ослами».

«Ослы», «кобылы», «звери», «фефела», «обозная сволочь» — браво, культура, браво, «культурные вожди русского общества»!

В пестром стане защитников «культурных ценностей» уже нет ни одного честного воина, который мог бы, как Яков Полонский, красиво и искренно возгласить тост «за свободу враждебного пера».

Это ли не понижение типа русского культурного человека?

Рабочий, по осторожным очеркам молодых беллетристов, еще хуже мужика: он глупее, более дерзок и при этом говорит о социализме, пагубности которого для себя и мира он, конечно, не может понять.

При всей идейной беззаботности господ писателей «венского периода русской литературы», как выразился Амфитеатров, они прекрасно усвоили мещанское представление о социализме как о вредном учении, которое, защищая исключительные интересы желудка, совершенно отрицает запросы духа. Поэтому

*** Хотя первоначально народ был обруган «фефелой» за недостаток темперамента, но впоследствии разные ретивые люди называли его этим именем уже «за все»!

тяготение к социализму понимается ими как прогрессивное развитие слабоумия.

Что пролетарий везде и всюду среди мещан является неприятным лицом, слишком трагичным в мещанской комедии, что для современного автора он велик и неудобен как герой — все это понятно.

Мужик же испортил свою карьеру в литературе и, видимо, надолго лишился теплого отношения беллетристики по такому поводу: видя, что господа волнуются, требуя себе политической власти, и что мундирное начальство уступит им, если он своею силою поддержит господ, — он должен был отдать все силы свои в распоряжение воинствующего мещанства, а оно, построив его руками и своим умом крепость благополучия своего, после этого поблагодарило бы его. Он же, некультурный, вместо того чтобы спокойно ожидать награды со стороны столь благородных господ, с настойчивостью, устранившею их, немедленно потребовал себе «всю землю» и, подстрекаемый рабочими, даже заговорил о социализме. За что — обруган и временно оставлен без внимания со стороны господ, известных своей добротой.

Разумеется, эта ссора интеллигенции с народом не может затянуться надолго: «без мужика не проживешь», как доказано Щедриным, но «культурному обществу» в интересах сохранения и дальнейшего роста страны сле-

дует возможно скорее прекратить проявления своих оскорбленных чувств, кончить истерические и капризные жалобы на непослушный ее желаниям народ. Интеллигенция же торопится забить своим телом все щели и трещины в государстве, потрясенном и полуразрушенном революцией; усталая и преждевременно разочарованная, она ищет лишь уютного места для отдыха, в деяниях ее нет более любви к своей стране, в словах нет веры.

Надо учесть еще одно специфически русское явление: непосильный рост «лишних», «никудашных», «никчемных», «ненужных» людей, — рост этот очевиден, как и его причины. Это элемент, крайне опасный для жизни, ибо эти люди с убитой волей, без надежд, без желаний — люди, массою которых прекрасно умеет пользоваться наш враг. Когда тип «лишнего» человека отмечался литературою среди культурного общества, это было не страшно: культура создается энергиею народа.

Но когда сам народ из своей среды и непосредственно выдвигает «никчемных», «никудашных», «ненужных» людей, это опасно, ибо свидетельствует об истощении почвы культурной — духовных сил народа; это явление надо учесть, с ним необходимо бороться. Задача литературы — уничтожить этих людей или, насытив их бодростью, воскресить к жизни активной.

Но — «позна вол стяжавшего и осел ясли господина своего» — литераторы дружно уходят на службу мещанству. На этой почве они неизбежно должны испытать и уже испытывают роковую убыль души: в среде мещанства нет свободных планов, нет широких идей, способных стройно организовать творческие силы личности.

Как на болоте не может разрастись могучий дуб, но растут только хилые березы, низенькие ели, так и в этой гнилой среде не может сложиться и подняться высоко над жизнью будней могучий талант, способный окинуть орлиным взором всю пестроту явлений в своей стране и в мире, — талант, освещающий пути к будущему и великие цели, окрыляющие нас, маленьких людей.

Мещанство — это ползучее растение, оно способно бесконечно размножаться и хотело бы задушить своими побегами все на своей дороге; вспомните, сколько великих поэтов было погублено им!

Мещанство — проклятие мира; оно пожирает личность изнутри, как червь опустошает плод; мещанство — чертополох; в шелесте его, злом и непрерывном, неслышно угасает звон мощных колоколов красоты и бодрой правды жизни. Оно — бездонно жадная тряпина грязи, которая засасывает в липкую глубину свою гения, любовь, поэзию, мысль, науку и искусство.

Болезненный этот нарыв на могучем теле человечества ныне, мы видим, совершенно разрушил личность, привив в кровь ей яд нигилистического индивидуализма, превращая человека в хулигана — существо бессвязное в самом себе, с раздробленным мозгом, изорванными нервами, неизлечимо глухое ко всем голосам жизни, кроме визгливых криков инстинкта, кроме подлого шепота больных страстей.

Благодаря мещанству мы пришли от Прометея до хулигана.

Но хулиган — кровное дитя мещанина, это плод его чрева. Историей назначена ему роль отцеубийцы, и он будет отцеубийцею, он уничтожит родителя своего.

Эта драма — семейная драма врага; мы смотрим на нее со смехом и радостью, но нам жалко, когда мещанство в борьбу со своим же исчадием вовлекает ценных и талантливых людей, нам грустно видеть, как гибнут они, отравленные гнилостным ядом бурно разрушающейся среды.

Нам — это естественное желание здорового — хочется видеть людей здоровыми, бодрыми, прекрасными; мы чувствуем, что, будучи развита и организована, духовная энергия народа нашего может освежить жизнь мира, ускорить наступление всечеловеческого праздника разума и красоты.

Ибо для нас история всемирной культуры

написана гекзамером и мы знаем: в мире будут дни всеобщего восторга людей пред картиною прошлых деяний своих и земля когда-то явится во вселенной местом торжества жизни над смертью, местом, где возникнет воистину свободное искусство жить для искусства, творить великое!

Жизнь человечества — творчество, стремление к победе над сопротивлением мертвой материи, желание овладеть всеми ее тайнами и заставить силы ее служить воле людей для счастья их. Идя к этой цели, мы должны в интересах успеха ревностно заботиться о постоянном развитии количества живой, сознательной и активной психофизической энергии мира. Задача данного исторического момента — развитие и организация, по возможности, всего запаса энергии народов, превращение ее в активную силу, создание классовых, групповых и партийных коллективов.

О писателях-самоучках*

Надо остановить внимание на участи русской интеллигенции и трагическом характере отношений ее и народа.

А. И. Эртель

Сейчас народился новый читатель, который хочет не только читать, но и творить. Он не хочет уже больше слушать, что говорят другие, он хочет слушать свою мысль, свое сердце и исполнять призывы их. И вот, мне кажется, сейчас надо собирать эти силы, искать их.

(Из письма провинциала, литературного предпринимателя)

За время 1906-1910 годов мною прочитано более четырехсот рукописей, их авторы — «писатели из народа». В огромном большинстве

* К сведению господ авторов, из произведений которых составлена эта статья: гонорар за статью поступает в фонд по организации в С.-Петербурге детского дома имени Льва Николаевича Толстого.

эти рукописи написаны малограмотно, они никогда не будут напечатаны, но — в них запечатлены живые человечьи души, в них звучит непосредственный голос массы, они дают возможность узнать, о чем думает потревоженный русский человек в долгие ночи шестимесячной зимы.

Мне кажется, что для вас, читатель, небезинтересно и небесполезно послушать, о чем и как думают несколько сот душ простых людей, живущих где-то рядом с вами.

Я внимательно, как только мог, прочитал все эти тетрадки серой бумаги, экономно исписанные непривычными к перу руками, сделал из них выписки тех мест, которые наиболее поражали меня, сделал выписки из писем авторов — и предлагаю все это вашему вниманию, будучи убежден, что делаю не худое дело.

Разбирая выписки, я был заинтересован частыми совпадениями мыслей у разных людей, разъединенных огромными пространствами; я, как увидите, сгруппировал эти мысли по их сходству, но я делал это не ради вящего торжества какой-нибудь тенденции, а просто из соображений порядка.

Не думаю, чтобы мне удалось одолеть хаос, однако полагаю, что все-таки несколько облегчил вам труд разобраться в этом материале, который — повторю еще раз — мне лично кажется очень поучительным.

КТО АВТОРЫ?

Всех авторов — 348.

Живут:

- на заводах, на железнодорожных станциях,
в фабричных поселках и деревнях 169
- в губернских городах 72
- уездных 44
- Москве 41
- Петербурге 22

Делятся на:

- рабочих 114
- крестьян 67
- сапожников 9
- дворников 6
- извозчиков 5
- солдат 5
- портных 4
- приказчиков 4
- каторжников 4
- швей 5
- горничных 3
- проституток 2

А также:

- кухарка 1
- торговка яблоками 1
- прачка 1

- больничная сиделка 1
- кладбищенский сторож 1
- ночной сторож 1
- трубочист 1
- швейцар 1
- полицейский 1

Профессии остальных не удалось определить.

Изо всей этой группы одиннадцать человек печатают свои произведения.

Степень грамотности у подавляющего большинства очень низка. Многие адресуют письма и бандероли так: «Италия, Остров Крит» или «Кипр». Довольно часто автор забывает указать свой адрес или дает его в таком виде: «Усманьского уезда Степану Накляшину, для солдата». «Херсонъ, Проховой завод, а если не будет переслать Казань». Нередко письма возвращаются «за неотысканием адресата».

Грамотность рабочих в общем выше грамотности крестьян, и знание литературного языка преобладает у первых.

ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ ИХ ПИСАТЬ?

Двадцать девять человек смотрят на литературу как на отхожий промысел, как на средство заработка. Семь из них — крестьяне, десять — рабочие, один — дворник, один —

корзинщик; профессии и сословие остальных не удалось определить.

Вся эта группа — люди очень низкой грамотности. Вот образчики их писаний:

Корзинщик — автор повести в стихах «Дневник проститутки»:

Я есть бедный кустарь корзины плету
буду ожидать за мой труд и одобрительного ответу
представте хотя я и бедный а что воображаю
до невозможности презренный металл обожаю
если на моих музолях не один рублик заблестит
сердцу моему это очень польстит.**

А о проститутке он все-таки пишет так:

Она не виновата
Была обольщена и невинность у нее отнята...

Вообще отношение автора к проститутке гуманное, сердечное. В заключение длинной истории ее страданий говорится:

** Это, конечно, безграмотно. Однако — извинительно, ибо вот как пишет «студент юридического факультета»:

Падают осенью листья ентарные
С жалобой странною, сонною, жуткою
Осенью звезды поют лучезарныя
Ночью струнную, ночью чуткою...

А в рождественском номере одной крупной провинциальной газеты напечатаны стихи такого рода:

По всему свету проститутка существует
И всякая нация о ней тоскует
А никто на них внимания не обращает
И в целях добрых не помогает.

Рабочий-кочегар:

Прошу у вас рекомендацию какой-нибудь могущей персоне или быть может вы можете употребить мою способность то есть талант философии тотально натуральной и поэзии, али же покрайней мере дать мне совет что мне делать с этим. Я в последний шесть лет сознал и разработал себе в голове философию тотально, затем доброе чувство поэта и еще отличный талант к музыке, и потому было бы очень жаль оставить это без внимания, которое может совершится малым награждением за мою работу с начала. Для

И только хилыми зарями
Одну надежду я холю,
Что одинокими мечтами
Я путь усталый окроплю.

В одном из альманахов помещен такой перл:

Магазины глухо ставнями
Всюду заперты и спят,
Шевеля уныло плавнями,
Тучи чудища летят.

Плавники, должно быть, с плавнями смешал поэт.
Текущая литература, как это многократно отмечалось и все чаще отмечается, изобилует признаками неуважения к русскому языку.

нас понятно чем больше таких людей на земном шаре существует, тем скорее все злое покорится доброму...

Рабочий на сахарном заводе:

Решившись взяться за литературный заработок по случаю того, что читанное мною несколько не лучше как и я могу написать.

Крестьянин:

По слабости здоровья не могучи победить никакого труда физического направления прошу покорно допустить меня в писательство.

Крестьянин:

Как мне стало известно, что сочинители получают за записанный лист большие деньги, то посылаю мое описание одному случаю у нас...

Проститутка, приславшая списанный ею и сильно искаженный «Сон богородицы»:

Желаю бросить мое занятие, а средств не имею и прошу напечатать в издаваемом вами «Вестники Знание» сочиненный мною сон.

Торговка яблоками — автор публицистической статьи:

Наша благородная полиция, как она оберегает бедный улишний народ и про городскую управу.

Сын мой извещаю сослан на поселение и не могу я ему помочь от своих доходов, а здоровьем он слабый...

И все двадцать девять мотиваций приблизительно таковы же.

Но вот что пишет та же торговка в своей статье:

Добрые люди, выслушайте голос простого старого сердца, сердца матери, много плакало оно горькими слезами, ведь бедный не виноват за то, что он родился на божий свет и все вы родились от матерей одинаковым способом, отчего же не уважаете друг друга и спихиваете со свободного места в грязь и нищету и могилу голодную.

Группирую выдержки из писем, в которых проповедь уважения подчеркнута как побудительный мотив к писательству:

Сапожник:

Мне хочется вызвать в людях уважение к самим себе, потому что по моему наблюдению над ними они куда лучше, чем думают друг о друге.

Крестьянин:

Вот г-да я вам рассказал историю моей жизни, в моей жизни столько случилось разных походов и ужасов и бедствий, что с редким человеком может случаться это, не одного радостного дня не видал я в своей жизни, я прошел тернистый путь...

Нужно, господа, сознать самое полезное сословие в нашем государстве — это крестьянство, и потому нужно помочь ему выбраться на культурную дорогу, зачем пренебрегать им ведь он такой же человек, как и другие.

Рабочий, автор рассказа о том, как мастеровые-шорники издевались над некрасивой робкой барышней, которая часто — и всегда в одно и то же время — проходила мимо их мастерской. Они пугали ее, оскорбляли, но вот их мастерской коснулось некое веяние, и, когда они пожелали ближе ознакомиться с ним, к ним пришла многократно оскорбленная ими барышня. Ее встретили насмешливо, скептически, но — она победила их недоверие горячею речью о необходимости в людях уважения друг ко другу и о том, что отсутствие этого чувства в человеке служит преградой делу освобождения людей.

В письме, присланном с рукописью, автор говорит:

Мысль, изложенная в рассказе, не нова, но есть какое-то наивысшее желание поделиться ею.

Дворник, автор рассказа о кухарке, которая обкрадывала своих хозяев и на деньги, скопленные воровством, освободила из публичного дома свою подругу, бывшую горничную. Пишет:

Надо глубже видеть жизнь других людей, жить, не понимая, кто вокруг нас, — невозможно, извините, если вы думаете не так.

Приказчик, тема его повести такова: служащие в большом магазине обуви внушают одному из товарищей, человеку безвольному и робкому, что он парень редкой красоты и ума и что хозяйская дочь засматривается на него. Он долго не верит им, прячется по уголкам, но, незаметно для себя, поддается внушению и несмело начинает ухаживать за дочерью хозяина, веселой гимназисткой. Она немножко кокетничает с ним, он же, искренно увлеченный, объясняется ей в любви. Оскорбленная барышня жалуется отцу на дерзость служащего. Отец дал пощечину герою, а герой, схватив ножницы, едва не воткнул их в глаза одного из товарищей. Повесть написана очень плохо, а в письме, приложенном к ней, автор, несколько неожиданно, объясняет свою тему и цель так:

Надо говорить человеку не только о том, что он плох, да почему он плох, а что хорошо в нем и почему хорошо.

Разноречие между тем, что автор хочет сказать, и тем, что говорит, — явление очень частое.

Так, например, полицейский, написавший в форме диалога историю двух малолетних проституток, историю очень грубую и страшную своими подробностями, говорит в письме:

Человек я малообразованный, да и не такого возраста, чтобы надеяться, что из труда моего выйдет путное, 38 лет мне уже. Писал для специалиста в деле знакомства с жизнью, чтобы через вас внушить людям: пора нам, русским, иметь одну родную сердцу мысль или, как называется, идею, которая всех бы нас собрала во единое. Это надобно внушать прежде всего: человек не игрушка, не на забаву друг другу родились мы.

Забота о человеке, желание вызвать к жизни человеческое, проповедь уважения к человеку — мотивы вполне ясные у пятидесяти трех человек.

Рабочий, токарь, говорит в письме:

Меня занимает человеческое, очень желается об этом рассказывать, ночей не спишь, но мысли длинные, а привычки выражаться книжными словами нет, так что одно мучение.

Другой рабочий, столяр:

Ничего нет выше на свете, как обучить человека.
«Ребенка обучить — дать миру человека», — сказал
Гюго.

Третий:

Пишу о любви, потому что пропаганду любви деятельной, а не на словах, ставлю выше всего. Пишу стихами, понимаю, что тут проза не подходит.

Вот образец его поэзии:

Пусть я грязен и невежда,
Жизнь обломала мне бока
И души моей одежда
Так тесна и узка.
Но — о, братья мои, люди.
Жив я и жива душа,
Пусть что будет, то и буди —
Жизнь как утро хороша.
К вам любовью пламенею,
Я горю в ней, как в огне,
Научите — как мне ею
Поделиться с вами мне...

Этот — сгорел: письмо, посланное ему, возвращено с отметкой «За смертью адресата».

Извозчик говорит:

После славных лет, когда жизнь наша потрясена со всех концов до глубины, требуется теперь нам осмотреть друг друга. Чего нам ждать одному от другого и что делать дальше с пользой для всех. Теперь каждому хочется сказать — а я вот как думаю об этом о жизни, а сказать негде. Мне не требуется денег за мое писание, только пожалуйста напечатайте, подымите дух.

Крестьянин пишет:

В настоящее время приходится стать ближе к природе и смотреть на будущую жизнь открытыми глазами, где правда.

Сапожник:

Одиночество и тоска гнетет меня здесь и тянет куда-то и вот по ночам пишу для кого-то, как будто близкого мне, но неизвестно где находящего.

Профессия неизвестна:

...Я служил мальчиком в сапожном магазине, хозяин послал меня по своим делам, но дорогой меня застал дождь и я должен был укрыться. Оглянувшись кругом, я увидел недалеко книжный магазин, крыльцо которого было с навесом, я спрятался под навес

и стал осматривать выставку. Вдруг я заметил небольшую книжку, немедля я вошел в магазин и купил ее и стал читать. Уж дождь давно перестал, солнце раскинуло свои золотистые лучи, облака поднялись выше, а я еще только что вернулся в магазин. Конечно, я не отделался от подщечин: щедрый доверенный всегда своей широкой ладонью бил с права налево; удары были сильны, но не было больно, только лишь заплакал за то, что мою книжку он скомкал и бросил в мусор. За то с тех пор я стал не спать ночей и все писал, и это писание — не угасимое до сих пор пламя, которое хочет все больше и больше разгореться, но нет тех средств, от чего могло бы ярче разгораться.

Настроение большинства, — как это видно из сказанного выше, — бодрое, дееспособное и часто восторженное.

Вот что пишет один из авторов, профессия и сословие которых мне неведомы:

«Чувствую, растет во мне сила великая», — говорит Илья Муромец старцам, когда выпил здоровую чашу браги; то же самое и я мог бы сказать о себе в духовном отношении. Внешне это было бы неудержимо смешно: я очень мал, слаб и мизерен, и слабею от различных недостатков и переживаний с каждым днем. Досадно мне это, хотелось бы чтонибудь особенно хорошее, милое сделать на свете...

«Кто знает, может я с ума схожу от радости, что живу на белом свете!» — восклицает рабочий, автор длинного стихотворения «Дни осени», написанного в таком тоне:

Ветер словно пес голодный
За окном уныло вое,
Говорит философ модный:
Вася Демин — жить не стоит!
Угол Васи сыр и темен,
Жизнь полна тоски и зла,
Но — смеется Вася Демин,
Знает Вася: жизнь — светла!
Вася — крепкая натура
И хоть от простуд проклятых
У него температура
38 3/10 —
Но Василий наш не стонет,
Не опустит он руки,
Ведь болезнь — души не тронет,
Остальное — пустяки!

Рабочий железнодорожного депо говорит:

Я бы не хотел лучшей жизни для себя, в смысле пищи, одежды и жилища, нет, я здоров, могу обходиться самым необходимым, скромно одеться и покушать, вот и все, но мне хотелось бы подлечиться немного, чтобы то, что накопилось в душе, могло свободно вылиться в слова, а эти мои слова и мысли

и чувства прочли бы окружающие и может быть нашли бы в них что нибудь интересное.

Другой:

Я самоучка, по профессии слесарь, много лет работал на машиностроительных заводах по России; все это я испытал на своей шкуре, всю суровую жизнь; как говорится прошел все огни и воды и медные трубы, но какая-то неведомая сила заставляет меня обратиться к писательству.

Третий:

Я рабочий, необразован, но я стремлюсь к чему-то, к чему и сам не знаю, а бедность и необразованность прижимают меня к земле и не дают мне возможности выбиться на путь и привести в исполнение мои мечты. Поверите или нет, что я иногда отказываю себе в пище, чтобы приобрести хорошую книжку и часто бывает, что у меня нет денег даже на марку.

Политический ссыльный:

Чувствую, что действительно во мне есть какая-то искра, которая, при умелом раздувании, может обратиться во что-нибудь большее... К чему-то рвется душа, к чему-то высокому, светлому, порывается, а кругом скользко, скользко и, обессилев, опять ползешь вниз, чтобы снова кинуться в другую сторону.

И вот в этих поисках хорошего светлого и кидается, кидается человек из стороны в сторону, да и сядет в самую что ни на есть грязную лужу...

«Неведомая сила», «неодолимое тяготение», «нечто сжигающее душу», «что-то» и прочие в этом духе определения как мотив к писательству упоминаются в девяности двух случаях.

Нередко автор определенно говорит, для чего именно он написал данную вещь и кто он сам по себе.

Написал сие элементарное произведение для желающих детально познакомиться с психологией крестьян, и потому описал весь жизненный путь крестьянина; начиная с младенческих лет и до старости. Живя среди крестьян, видевши противоположные культуре стороны, как бедность, темнота и невежество, и смотреть индифферентно на все это, не хватает сил, и потому в моем хотя и примитивном произведении, я хочу показать, как живет самый полезный элемент нашего государства труженик земли русский крестьянин.

Повесть эту я писал под впечатлением затруднявшего меня своим решением вопроса — семья для нас, рабочих, и совмещение этого положения с работою на благо своего класса.

Неизвестной профессии:

Я хотел изобразить действительно революционное,

полудетски-восторженное и наивное, но прекрасное, искреннее возбуждение лучшей части современного юношества в лице одного представителя, в лице другого — консервативный, глубоко-любовный застой, слепое верование, подчиненность и с виду величавую, а внутренне дряблую, ничтожную крепость также лучших, но отживающих представителей старого мира. Удалось плохо; на публицистику похоже; никак не мог обойтись без рассуждений. Теперь, может, лучше написал бы, если бы пришлось заново писать то же самое, да не приходится, физически не могу.

Слова «глубоко-любовный застой» обращают внимание: мне кажется, надо иметь какую-то особенную душу, чтобы назвать чуму, например, глубоко любовным явлением.

Позволю себе привести отрывок из письма «группы читателей ссыльных крестьян и рабочих» — может быть, этот отрывок несколько объяснит смысл благодущных слов:

Мы думаем, что злобу жизни следует вскрывать не для возбуждения вражды, а для стыда. Конечно, пристыженные могут и обозлиться, но это уже не ваше дело, вы только сами-то не разжигайте злость, о чем и просим.

В другом письме сказано еще более ясно:

Все виноваты, всех жалко, замучился, напуган

народ, так что если бы мы трое были судьями, то оправдывали бы всех людей. Не смейтесь, так многие думают, очень уж устали, а отдохнуть не на чем.

Семнадцать человек кратко и вполне определенно заявляют, как в один голос: «Люблю писать».

Уместно сказать, что произведения этой группы являются наиболее литературными, интересными и что-то обещающими. Но, как назло, авторы — люди, заключенные в плен невероятно тяжелых условий, а двое из них — в каторге.

«Я даю полный ход вольной, легкой мысли — пускай летает где и как хочет — может так лучше будет...» — говорит восемнадцатый.

Кладбищенский сторож пишет:

Люблю следить, как звонкие слова
Рядами стройными ложатся на бумагу,
От них кружится сладко голова,
А в сердце чувствуешь какую-то отвагу***.

«Люблю писать стихи. Не могу не писать. Зимой уложишь спать жену и ребятишек, ся-

*** Если автору этого четверостишия попадетсЯ на глаза моя заметка, я убедительно прошу его сообщить мне — куда ему писать. Письмо к нему и рукопись возвращены «за ненахождением адресата», книги и снимки с картин — тоже, хотя были посланы по другому адресу, на Пензу.

дешь в уголок, к столу и, нанизывая слово за словом на чистенький листок бумаги, приятно позабудешь всю окружающую жизнь, зверски-бедную», — пишет крестьянин.

«Мне 23 года. С 15 лет я почувствовал в себе сильное стремление к литературному труду и вот уже 8 лет мучаюсь этим стремлением».

Наборщик в письме:

Лишился аппетита,
Лишился я сна
И жизнь моя разбита —
Поэзия всему вина!
Но — я не виню
Поэзию, боже упаси!
Я еще больше мук приму,
Лишь бы научиться писать стихи!

Портной пишет:

Другие страдают запоем, а я, грешник, к писательству пристрастился.

Рабочий:

Хотя я и обещал сам себе не писать пока стихотворений, но — не могу утерпеть, что-то невольно тянет меня к перу и я пишу — не для того, чтоб сочинять,

а чтобы душу свою вылить в звучных строках, поделиться тоской своей сердечной с кем-нибудь.

Его стихи:

Как жажду я свободы просвещенья
Душа болит и ноет в темноте
И каждый стон душевного мученья
Звучит стихом в житейской пустоте!

Думаю, что эти выписки достаточно ясно отвечают на вопрос, что именно понуждает простого русского человека писать, и, отчасти, отвечают на другой вопрос:

О ЧЕМ ОНИ ПИШУТ?

Прежде всего невольно останавливает внимание тот факт, что на темы событий 1905-1906 года крестьяне и рабочие пишут меньше, чем можно бы ожидать, имея в виду непосредственное участие большинства авторов в этих событиях.

Из общей массы рукописей — а их записано мною 429 — только 67 рассказов и 6 пьес посвящены революционным темам. Революционное настроение главным образом выражается в стихах, и здесь оно — преобладает.

Из 73 произведений, написанных на революционные темы, в 27 случаях авторы —

рабочие, в 29 — крестьяне, в 3 — пожарный, швея и сапожник.

Следующий за этим и самый значительный, на мой взгляд, факт — отрицательное отношение к интеллигенции. Это отношение нередко принимает формы убийственно враждебные и злые. В общем тип интеллигента рисуется как тип барина, привыкшего командовать, слабовольного, всегда плохо знакомого с действительностью и трусливого в момент опасности.

Это — настроение, но, видимо, очень глубокое, оно как будто все более разрастается и, может быть, способно еще расширить давний, многократно оплаканный разрыв между культурными людьми и массой. Поясню это: мне и до 1906 года приходилось очень много читать рукописей писателей-самоучек, и я совершенно определенно формулирую мое впечатление от литературы того периода так: почти в каждом рассказе и стихотворении было ясно видно, кого из крупных литераторов читал автор перед тем, как самому взяться за перо. Зависимость от книги сказывалась и в манере писать, и в выборе тем, и в настроении; индивидуальность автора в огромном большинстве случаев была совершенно неуловима, она поглощалась рабским подражанием в прозе — Тургеневу, Короленко, Чехову, в стихах — Некрасову, Никитину, Надсону.

В материале, который теперь я имею в ру-

ках, — почти совершенно отсутствует подражание. Единственный писатель, техника которого, видимо, влияет на самоучек, — это Андреев, но и подражания ему, будучи очень обильны у студентов и вообще у лиц интеллигентных профессий, — нечасты у рабочих и крестьян. В моем материале их — семь, все они являются попытками неудачными и чисто внешними: авторы берут манеру Андреева начинать фразу союзом «и» и безуспешно пытаются придать языку однотонный, гипнотизирующий ритм, свойственный стилю Андреева.

Нередки заявления такого тона:

Крестьянин — кончил двухклассное училище:

Если хотите знать, — то я — я сам, и не поклонник ни Ницше, ни Толстого, ни Сократа, ни Христа. А прямо я — один, и убеждения мои — все мои, родившиеся во мне.

Каторжник, бывший матрос:

Книг прочитано много, а взять в них оказалось нечего, остался сам по себе. Говорят — надо читать старых писателей, те лучше, так пришлите старых.

Человек этот настроен лирически, им написано такое стихотворение:

Если бы сняли с меня цепи,

Я пошел бы в божий храм,
В уголку тихонько стал бы,
Помолился там:
Христе боже! Души слабых
И усталых — пожалей!
Напои сердца их верой,
Луч надежды им пролей!..

Рабочий:

С трудом достанешь растрепанный журнал, придешь с работы и читаешь до света. Вот — свисток и в голове свисток, а на душе — тоска; что вынес я из книги?.. Мутное что-то.

Крестьянин, ложкарь:

Пришлите, Христа ради, хорошего, живого чегонибудь, а это не идет на душу! Слышал — есть поэт Суриков и Слепцов, прозаист, вот их бы мне.

Крестьянин:

Сборники мне не понравились, похабщины у нас и своей довольно, этим нас не удивишь. А вот достал я у священника, о котором писал, Лескова, приложение к «Ниве» — господи помилуй, как хорошо! Такое родное и грустное все, такое близкое душе. Чехова, тоже приложение, прочитал две книжки, хохотал, как чорт. Матери

с женой читал, тоже самое, разливаются-хохочут. Вот — и смешно, а мило!

В списках требований на книги, получаемых от разных групп и лиц, имена старых писателей встречаются все чаще, из современных же спрашивают почти одного Андреева, причем заметно, что наиболее читаются и нравятся первые три его тома.

Однако надо сказать, что интерес к беллетристике, видимо, вообще понижается: в требованиях преобладают книги по истории, естественным наукам, по истории культуры и литературы. Поражаешься: откуда в посаде Снеговом, Херсонской губернии, или в Осе, Пермской, знают имена Леббока, Тейлора, Циттеля, Тимирязева — часто спрашивают его чудесную «Жизнь растений», — Бельше и Геккеля.

Очень жутко и больно отмечать рядом со стремлением «человека страшной жизни» к благам культуры его скептицизм и недоверие к интеллигенции. Иногда приходится выступать в совершенно не свойственной мне роли защитника обижаемой интеллигенции, но это не укрощает людей.

В одном случае цитирую слова Н.К. Михайловского: «Русская интеллигенция и русская буржуазия не одно и то же, они, до известной степени, враждебны и должны быть враждеб-

ны друг другу». Корреспондент мой, крестьянин, эсер, состоявший в ту пору под судом, зубасто отвечает:

Нам в степенях разбираться времени нет. Вы меня Михайловским, а я вас Щедриным: «Где веселые адвокаты? Адвокаты-то нынче, тетенька, как завидят клиента... Ну, да уж бог с ними! Смирный нынче это народ стал, живут наравне с другими, без результатов...»

Разумеется, это не единственный случай, их немало, и порою они очень курьезны.

Вот, например, отрывок из письма старого знакомого, бывшего рабочего, ныне лесника:

Переменились наши роли, товарищ: когда-то я вас упрекал за несправедливое отношение к людям, стоящим во главе угла, а теперь вы же мне нотации читаете. Что сей сон значит?

Я был однажды очень приятно изумлен, получив от одного крестьянина длинное, хоть и безграмотно написанное, стихотворение «Работник мысли». Оно начиналось словами:

Честь тому, кто за сохой
Спину гнет и в жар, и в холод,
Кто могучею рукой
Поднимает тяжкий молот...

Затем шло описание труда мыслящего человека и в заключение говорилось:

Да вспомянем и того,
Кто в нужде, как раб в неволе,
Плугом мозга своего
Пашет умственное поле!

Очень обрадовался, но — вспомнил, что это Фрейлигратом написано, переведено Михайловским.

Приезжают люди из ссылки и рисуют отношения между ссылными интеллигентами с одной стороны, крестьянами и рабочими — с другой, такими красками, что невольно хочется кричать: «Дурное — от человека, а человек смертен, хорошее — тоже от него, но — оно никогда еще не умирало вместе с ним! Хорошее цените выше, ему помогайте жить и расти!»

Но возвращаюсь к своему материалу.

Темы моих писателей крайне редко совпадают с темами признанных литераторов. Мне известно, что «Санин» очень усердно читался в рабочей среде, но у меня не было ни одной рукописи, в которой заметно сказалось бы влияние этой книги.

Укажу на то, что большинство пьес пишется под явным влиянием «Жизни Человека», «Царя Голода», но и это влияние — внешнее:

берут форму, а не настроение автора, не его отношение к жизни.

По вопросу пола написаны два рассказа, причем один из них, имея характер публицистический, представляет собою горячую отповедь «половикам».

«Богоискательство» — течение, столь на шумевшее в Петербурге, — не отразилось ни в одной из рукописей, бывших у меня в руках.

Анархизм тоже не отражен.

И, наконец, как это, может быть, уже заметно по приведенным выдержкам, — полная и явная разница настроений: в литературе печатной — настроение покаянное, подавленное, анализирующее и пассивное, в литературе писанной — настроение активно и бодро.

Привожу примеры.

Вот лирическое сочинение рабочего Малышева, озаглавленное «Родному слову»:

Уж много лет своей жизни я прожил — четвертый десяток идет. И за этот период ее — как только сознанием осветилось мое существование — я крепко полюбил тебя, родной мой язык! Я не знал твоих законов, кои должен бы был класть в основание, при создании твоих форм: я научился в мастерской формировать из твоего золотого песка эти красивые формы, но я всю жизнь одночасно к этому стремился.

В детстве моем, наш сосед, мужик Дементий Девятко, во все праздники и другие дни, когда ему удава-

лось быть под хмельком, приходил к окошкам нашей избы и, встав в позу взволнованного проповедника, говорил монологи из творцов твоих красивых форм, родное слово! Он, очевидно, только потому и приходил к нашей избе красиво поговорить чужие слова, что я слушал его со слезами на глазах. И я счастлив был при этом слушании: болезненную радостью плясало тогда мое детское сердце, я запоминал периоды и потом, наедине, твердил их сам с собою.

Я с нетерпением ждал праздника или другого случая к хмельному состоянию Дементия Девятка, дабы послушать его красивого говоренья, и, не дождавшись, иногда обращался к нему трезвому с просьбой — поговорить мне по праздничному...

Русский язык! Как ты велик в своих божественных красотах. Как музыкально звучна, как сладостна из уст страдальца льющаяся твоя гармония! Как много чувств божественно-вольных возможно лишь в твою величественно могучую, красиво гибкую форму излить, великий, сладостно звучный, о, божественно страстный русский язык...

Ты, сладостно звучный, божественно страстный русский язык, великий молот, кующий звуками счастье народа! О, ты, могучее колоколе, гулом своим сильным вещающее народу о возможности лучшей жизни, трудом и борьбой достигаемой!

Вспомните, читатель, ведь это написано человеком, отец которого был крепостной раб, а сам он лишь десятью годами опоздал попасть в рабство.

Понять значение языка — это много, это радует.

«Из всех способностей человека — язык, может быть, единственная, которая не была дана ему природой», — хорошо сказал Вирхов в своей работе о первобытных обитателях Европы.

И разве не весело читать, например, такие филологические изыскания захолустного елатомского человека:

Просиживаю ночи напролет, изучая русский язык, и чувствую, как душа растет. Читаю слово — свет. А в голове сами собою являются слова: сведать — ведать — свет — дать? совет?.. совесть?.. И как будто открываются тайны жизни****.

Здесь, разумеется, дело не в филологии, а в направлении молодой и живой мысли. Послушайте внимательно, о чем она говорит, о чем поет, — и жить вам будет легче, а работать — веселее!

Вот сестра милосердия:

Вижу, что это непростительно — плохо знать свой

**** Хорошую услугу оказал бы всем этим новым писателям, да и вообще русскому обществу, тот, кто издал бы давно вышедшую из продажи книгу Потебни «Язык и мысль». За последнее время часто спрашивают «Муки слова» Горнфельда и книгу Энгельмейера — «Теория творчества». Но рабочие и крестьяне, читавшие эти хорошие книги, находят их «трудно написанными» и просят указать «попроще». Такой — не знаю; за указание буду благодарен.

родной язык, и решила взяться за него самым серьезным образом. Если бы вы знали, сколько за это время написано и уничтожено мною. Ночью пишу, а утром рву. И учусь в то же время, изучаю девять предметов, чтобы сдать за четыре класса гимназии. Трудно, но все одолею. Живет правда на свете!

Вот нечто, в особом роде, озаглавленное «Благодарю, природа!»:

Голодный, босой оборвыш — иду в Москву. Проселками, из Серпухова, ждал-искал работы, объел себя вплоть до костей — иду в Москву!

Поля венчают зеленые короны лесов. Широко, свободно дышать — хорошо!

Степенные мужички попадаются встречу, неприветливо косятся — босяк, жулик?

Хочется сказать им:

«Не бойсь, ребята! Мне обижать людей не к чему».

Да они сами, черти, по роже видят, что не трону, — говорят:

— Мир дорогой!

— Мир дорогой, брат! Нет ли куска хлеба?

Конечно, нет! У мужика да хлеб? Дурачина, — ругаю сам себя.

А у какой-то бабищи, в толстой пазухе, нашлась краюшка; потом пахнет от хлеба, а — вкусно!

Сыт. Весело на душе.

— На работу?

— На работу!

— Ты, чай, найдешь.
— Я? Я ее поймаю, уж я — схвачу!
Чтобы я работать не нашел себе, ежели захотел?

Далее идет беседа с бабой, подмосковной огородницей, что тоже очень весело и бойко, но — непередаваемо: изобилует подробностями, которые предусмотрены в трех очень популярных статьях Уложения.

Веселое сочинение это подписано: «П. Безработный». Автор забыл сообщить свой адрес, бумаги у него не хватило, и последняя из четырнадцати страниц рукописи, написанной карандашом, дописана на куске картона от какой-то коробки.

Вот еще кусок стихотворения, им начата довольно толстая тетрадь стихов. Автор — крестьянин, 23 лет:

Люди жизни несчастливой, жизни темной, сиротливой,

Вам я братски посылаю песню легкую мою.

Я пою цветы и травы, дев и женщин смех лукавый,
Радость жизни — нашу юность — нашу родину пою!

О тоске нам много пели, скорбь и горе надоели,

Всем на свете надоело тосковать и унывать,

Надоело спорить, злиться, сердце хочет веселиться,

Руки тянутся к работе — счастье новое ковать!..

Живет в деревне, на Урале. В письме пишет:

Мои любимые писатели — Бунин, Некрасов и Брюсов; Пушкина — читал «Полтаву» и сказки, это не понравилось, говорят — надо все читать, а где достанешь? За Лескова и Печерского очень благодарен, это, действительно, — удивительно! Особенно первый, — «Очарованного странника» читая, даже заплакал в двух местах — хорошо!

«Сердце хочет веселиться» — это, видимо, не случайная обмолвка, ибо о веселье говорят многие.

Вот конец стихотворения одного поэта, ныне уже печатающего свои стихи:

Пусть печаль убивает меня,
Но за мною по трудной дороге
Идут люди грядущего дня
Веселы и свободны, как боги.

Вот что пишет человек, которого «гнетет одиночество и тоска» и который «по ночам» пишет «для кого-то, как будто близкого ему, но неизвестно где находящегося»:

Прошли века и народы разных поколений, а мудрецы их — все ищут счастья, и счастья миру не нашли.

К чему стремитесь вы, народы, и зачем фанатизмом творите злобу и войну?

Ведь этим себя лишь вы разите, и противна ваша злоба Моисею и Христу.

Кто жив теперь и остался с нами из всех людей былых веков?

Жив лишь тот, кто творил добро народу и не вмещал себя в условных рамках тупой и пошлой суеты.

Он, как Прометей, свободу, правду, счастье людям ищет и на пути все цепи рвет.

Он часто сам за это гибнет, но честь и слава о нем в народе не умрет.

Старики будут внукам быть рассказывать о былых его делах, а молодежь хороводом о нем громко песню пропоеет.

Знаю, тяжела жизнь твоя, скиталец бедный, но позабудь все обиды, печаль, горе и тоску, поднимись и спой-ка песню удалую, чтоб показалась жизнь свободна и легка.

Приведу еще отрывок из стихотворения, напечатанного в газете «Ясный сокол» за 1909 год; в нем есть строчка, поражающая своим противоречием действительности:

Да, товарищ. Не время скорбеть.
В нашем мире печалям нет места.
Песни надо иные нам петь,
Чтоб в них слышался голос протеста.

Подражая Кольцову, томский рабочий восклицает:

...встряхнись,
Русь могучая,
И взгляни вперед
Ясным соколом.
Двинь плечом своим,
Да взмахни крылом,
Да оставь врагов
Позади себя!

Иногда кажется, что люди спорят друг с другом. Вот содержание пьесы крестьянина, названной «Сын отечества»:

Приехал в деревню молодой помещик, только что кончивший университет, и предложил крестьянам: он отдает им безвозмездно всю свою землю, оставляя для себя несколько десятин, и ставит непременным условием, чтобы мужики работали на своих полях так, как он будет работать на своем поле. Мужики согласны.

Второй акт. Мужики празднуют десятилетие новой жизни: поля у них цветут, урожаи баснословные, огороды, сады — удивительные, водки они не пьют, жен не колотят, школа у них образцовая, в ней обучают и ремеслам, вообще — рай земной! Поют песни, водят хороводы, а когда на праздник является сам культуртрегер и творец новой жизни, — его чествуют задушевной речью и называют «настоящим сыном отечества». Все очень весело и хорошо.

Акт третий. Это благополучие весьма не нравится соседним помещикам, и вот является на сцену исправник в сопровождении стражников, жандармов и разных злорадствующих лиц.

— Это вас зовут «сын отечества»?

— Меня.

— Пожалуйте!

Увезли. Крестьяне ошеломлены, и один из них, веселый человек, сняв шапку, вслед процессии говорит: «Вот те и сын отечества!»

Занавес.

А вот пьеса — «В тумане иллюзий». Автор ее — эмигрант, интеллигент.

В деревню является чета молодоженов, преисполненная добрыми намерениями; она — учит баб, как надо доить коров, мыть детей и прочему; он — затевает кооперативную лавку, ведет беседы о человеческом достоинстве, интенсивном хозяйстве, грядковой культуре и тому подобном. Мужики ничего не понимают, клянчат на выпивку, обещая за полведерка сделать все, что угодно доброму барину; бабы выпрашивают «обносочки» и ругаются друг с другом; слуги, не чувствуя над собою твердой хозяйской руки, ленятся, вещи пропадают; в лесу дерут лыки, рубят деревья, в полях травят посевы — ад кромешный! В конце четвертого действия добрые баре совершенно разбиты, подавлены деревенской темнотой и бестолочью и — собираются восвояси, в город.

В первом случае, как видите, изображена неправда, выдумка, а во втором, вероятно, суровая действительность. Но — сквозь выдумку и неправду ясно чувствуется горячее желание новой жизни и вера в человека, даже когда он — барин, старинный враг; а во втором — искренно, хотя и неумело, изображена невозможность жить и работать с мужиком, одичавшим от бедности, пьянства и голодух, развращенным побоями. Безнадежно, скорбно и беспросветно.

Если бы я встретил это противоречие пять и десять раз, я счел бы его случайным и не позволил бы себе остановиться на нем ваше, читатель, внимание, но, встречая его десятки раз, нахожу нужным подчеркнуть.

«Это искусственно подобрано и оттого звучит так громко!» — может подумать читатель.

Но ведь чтобы собрать цветы, надо чтобы они где-то выросли!

А кроме этого возражения, которое, может, и не будет принято, я советовал бы сопоставить приводимые мною выписки со стихами московских поэтов-самоучек, издавших в Москве в 1909 году коллективный сборник своих стихов****. Там встретите такие строки калужского крестьянина Савина, автора сборников «Песни рабочего» и «Свободные песни»:

**** «Галерея современных поэтов». Выпуск первый. Цена 15 к. Москва, 1909 года.

Жизнь есть борьба,
Я в ней борюсь,
Пусть бьет судьба —
Не покорюсь.

Шкулева, крестьянина:

Только трудом
Все мы живем,
Труд наш отец,
Счастья кузнец,
С ним мы порвем
Цепи и гнет,
Смело вперед!

«Песнь о свободе» рабочего Нечаева, где
есть такие строки:

...ты померкла предо мной...
Но голос твой звенит повсюду,
Как в дни весенние ручей,
И силой властной своей
Вливает страждущему люду
В сердца живительный елей.

Сотрудники этой «Галереи» — рабочие,
приказчики, люди тяжелого ежедневного труда,
и все это — люди живой души.

Один из них говорит:

Я не хочу земли обетованной
Найти в заоблачной выси,
Весь этот мир, живой и многогранный,
Он для меня, как солнце в небеси...

Другой:

Хочу я быть певцом отчизны.

Третий:

...Я не могу склониться
В мольбе пред тем, кто близок богачу,
А бедных чужд, довольно, не хочу
И не могу я более молиться.

Я обращаю внимание читателя также и на ряд других сборников «писателей из народа», или «самоучек», — просмотрите их, и вы увидите, как велика разница настроений в литературе признанной и в этих тонких книжках, написанных простыми, искренними людьми, которые знают жизнь непосредственно.

Прошу помнить, что я говорю не о талантах, не об искусстве, а о правде, о жизни, а больше всего — о тех, кто дееспособен, бодр духом и умеет любить вечно живое и все растущее благородное — человечье.

Если сопоставить эту их тяжкую жизнь и бодрые голоса с истерическими, капризными

выходками признанных литераторов, «уставших от сложности и напряженности современной», как они заявляют, если это сравнить — станет понятно враждебное отношение демоса к интеллигенции.

Мне легко было бы привести еще десяток и больше выдержек из произведений, написанных в таком же бодром, жизненном тоне, но полагаю, что отмеченное достаточно убедительно. Часто авторы рассказывают о себе, и почти всегда чувствуешь в этих рассказах ужимку смущения, застенчивость скромного человека, который нередко хочет скрыться за неуклюжей и шутливой развязностью. Иногда эта развязность неприятно груба и шумна, но это — внешнее, это — маска, за которою прячется лицо человека, уже знакомого с чувством уважения к себе.

Приведу одну из таких биографий:

Первые проблески памяти рисуют мне дерущихся пьяных отца и мать. Помню и смерть матери, но, будучи трехлетним, не понимал своей утраты, даже был доволен, что благодаря этому меня отпустили играть. Шести лет мне чуть не пришлось отправиться вслед за матерью, и черви, расплодившиеся в моих ранах, а также паразиты, и грязь, и смрад очень тому способствовали, но я только оглох на оба уха. Семи лет я в девятнадцать дней окончил курс образования в отцовском университете по новейшему способу пре-

подавания, чтению — по обтрепанным листам календаря, письму — палкой на песке. Пятнадцати лет ходил в Семипалатинск на Святой ключ Абалакской божьей матери просить исцеления от глухоты, но простудился, купаясь в холодном ключе, и, не солоно хлебавши, вернулся домой. Восемнадцатилетним юношей я зажил самостоятельно, научился пикировать на скрипке, стал играть на вечеринках, работал и читал все, что попало, с ненасытной жадностью.

От невыносимой жизни со своим зверем мужем завила моя старшая сестра; вино явилось ей какой-то необходимостью и наконец превратилось в страшную потребность, и когда она разошлась с мужем, то во время запоя была убита. Я видел ее истерзанное тело, видел палку... но не плакал. Лучше — не мучиться теперь... Вторая еще жила кое-как, а третья, девушка, нашла приют в веселых домах. Брат старался перецеголять отца, и только я чувствовал к вину какое-то дикое отвращение. Двадцати четырех лет я бросил гильзовое ремесло и взялся за шапочное. Тогда-то чтение толкнуло меня попробовать стать писателем или поэтом. Первые опыты показались мне удачными, и я решил, что это мое назначение.

И вот муза моя начала мне мешать и спать и работать. Один раз я не мог заснуть девять ночей, вспоминая бессонницу, и даже примирился с мыслью сойти с ума, но, на счастье, меня пригласили в один увеселительный притон музыкантом. С радостью ухватился я за это: вечером и ночью играл, утром до обеда спал и в свободное время писал в бане. В то же время

отец помер, не получив прощения от изнасилованной им ранее младшей моей сестры.

Около двух лет упражнялся я в стихотворном искусстве и только после того понял, что у меня не достаёт очень важного — знания грамматики, о существовании которой я, признаться, и не подозревал до сего времени, изучить же её мне представлялось китайской грамотой, и я махнул рукой, надеясь понять премудрости языка, следя за каждым знаком при чтении, — и тем избежать ужасающей меня зубрежки учебника.

Наконец, нашелся один странствующий адвокат, который взял меня к себе, объявив, что гению не место в публичном. Мы жили как братья. Он был настоящая забубенная головушка и в то же время замечательный виртуоз на кварт-гитаре; слушая его вдохновенные фантастические композиции, я рыдал на его плече и тогда впервые почувствовал в своем сердце вдохновенный творческий огонь. Но скоро этот друг запил непробудную, и я убежал от него в ма-стерскую. Половину работал, половину писал.

В 1905 г. участвовал в освободительном движении, от погрома спасся в деревне. Во время краткой декабрьско-январской свободы на устроенном социал-демократической группой литературном вечере читал свое стихотворение «Егорка», получился успех. После того участвовал в забастовке шапочников. Отсидел полмесяца в тюрьме. Пресса не приняла моих длинных стихов, нужно было коротеньких. Я этого тоже не знал. Пришлось писать на новый лад. Мне

удалось и это. Почти все мои стишки были напечатаны, и — так сбылась моя мечта: я попал в печать. Ошиблись все утверждавшие, что это нелепо в моем положении.

Встретил младшую, но уже тридцатилетнюю, сестру, она жила по публичным заведениям, из которых ее часто выгоняли за невозможное пьянство и держали только из жалости... Сестренка моя горемычная. Красавица, гордость и радость моя бывшая. Что осталось от тебя... Что осталось от нашей семьи... В моем кармане хранилось письмо из Барнаула с извещением, что брат чуть не сгорел от вина, а пьянствующую сестру муж избил до полусмерти, выдергал волосы, выбил зубы и проломил скулу молотком... Ух ты! Что это?..

Что же и о чем может писать человек такой страшной жизни?

Вот несколько отрывков из напечатанных им стихотворений:

ЖИЗНЬ

Безначальная, бесконечная,
Беспредельная, необъятная,
Неизбежная, непонятная —
О, жизнь, стоишь ты предо мной,
Как сфинкс, как тайна роковая,
Очами вечности сверкая,
Дыша бездонной глубиной,
Где зло сливается с добром,

И целый мир, и каждый атом
Слит в поцелуе роковом,
Благословенном и проклятом!..
И мысль в величии своем
Напрасно силы напрягала
И что-то тщетно разбирала
В лице таинственном твоём...

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО

Я приняла, мой друг, последнее решение:
Освободить тебя от жизненных цепей..
Не смерть меня страшит, страшит меня мученье —
Безумие души моей.
Но возвращу тебе свободу
Я этой страшною ценой,
И на служение народу
Благословляю, милый мой!

ОРИОН

Бахрома облаков, расплываясь в пространстве,
Открывает величие вечных чудес —
В неизменно-божественно-пышном убранстве
Глубину полуночных небес.
Хороводы светил, с чистотою стыдливой,
Испещряют предвечный незыблемый трон, —
И горит и царит красотой горделивой
Всем созвездиям царь — Орион.
Он горит, как вселенной весы золотые,
Для решений верховного правды Суда,
Где бы взвесили споры свои роковые

Жизнь и Смерть и Любовь и Вражда.

К БУКВЕ

К букве буква, к слову слово
Строки стройные растут,
К жизни светлой, к жизни новой
Безбоязненно зовут.
Час за часом, дни за днями —
В Лету падают года.
Жизнь цветет, горит огнями
Всесоюзного труда.
Мысль и руки понемногу
В побежденной полумгле
Строят верную дорогу
К царству правды на земле!

И, когда после таких стихов «человека страшной жизни» прочитаешь жалкое признание культурного человека, который с печальной, некрасивой, а может быть, и мстительной откровенностью прокаженного обнажает гниющие язвы свои:

Я прожить, как мудрый, не умею,
Умереть, как гордый, не могу,
Перед жизнью я сгибаю шею,
Уступаю моему врагу.
Я живу без знания и веры,
В нестихающей вражде с собой;
Позади кошмары и химеры,

Впереди нелепый, дикий бой —

становится жутко за страну, где интеллигенция почти через каждое десятилетие акkuratнейшим образом с головой погружается в болото фатализма и приходит к самобичеванию и самооплеванию, ошибочно именуя это неизящное занятие самоусовершенствованием.

Искренно говорю — я никого не хочу обидеть. Зачем? Российский интеллигент сам себя превосходно обижает, он делает это всегда с болезненным каким-то усердием и сладострастием, точно Ф.М. Достоевскому экзамен по науке самоистязания сдает.

Но — хотелось бы сказать: «Господа, если вас тошнит, не выбегайте на улицу во время этого процесса, по улице живые, здоровые — новые люди и дети ходят, и юноши, а им вредно смотреть, как вас вывертывает!»

В молодой и милой стране нашей люди юны и чутки и по юности своей — чудесно восприимчивы ко всему, а истерия и всякие судороги — заразительны, и это надо бы помнить из уважения к жизни, к родине, к человеку! А из уважения к себе — не кричи, не стенай и, если пришло время умирать — умри в одиночестве, это и красивее и гигиеничнее.

Мне, надеюсь, не поставят в вину такое отступление и не примут его как выходку злую — я говорю с великою болью за всех, кому больно,

с глубокой тоской за всех, кому тошно, но — еще с большим страхом за молодых людей, которые поднимаются от земли навстречу культуре — поднимаются «весело», с «протянутыми к творческой работе руками» и которым вы нужны как друзья, как учителя, а не как примеры всяческих духовных искажений.

Приведу еще два характерных стихотворения: первое принадлежит перу поволжского крестьянина, второе — человеку, стихи которого уже печатаются в журналах, а приводимое мною его стихотворение напечатано на последней странице сборника «Песни бури», изданного в 1908 году и имеющего всего 9 страниц.

Мы выходим один за другим
Бесконечную, вечную цепью
Из тяжелого темного рабства
К светлой цели всеобщего братства.
Точно искры, мы гаснем в пути —
Душит нас злой вражды темный дым,
Но мы к правде дорогу найдем.
Мы — идем. Неустанно идем!
Еще не смолкнул гром, и ночь еще царит,
Еще безумствует жестокая стихия,
Но близок яркий день: заря уже горит,
Идет великая, свободная Россия!

В это надо верить, ибо — это говорят те самые люди, которых отцы и деды ваши пять-

десять с лишком лет будили и звали: «Идите к свету, к разуму, правде и красоте!»

Вот — идут.

Очень может быть, что в моем очаровании бодрими песнями, которые начинает петь русский народ, я и преувеличиваю значение этих песен, если это так — строгий и неподкупный общий наш судья — завтрашний день — разочарует меня. Укажу также, что мне известны и я всегда держу в памяти умные и верные слова Гизо: «Даже не желая обманывать других, писатель начинает с того, что обманывает сам себя: чтобы доказать то, что он считает за истину, он впадает в неточности, которых сам не сознает или которые кажутся ему незначительными, а его страсти заглушают его сомнения».

Но за всем этим мне кажется, что наступило время, опровергающее когда-то правильное утверждение В.Н. Майкова и других, кто говорил: «В русском крестьянстве нет идей», «У русского народа множество суеверий, но нет идей», — мне кажется, что в русском народе рождается идея, и как раз та, которая может духовно выпрямить его, именно: идея активного отношения к жизни, к людям, к природе.

Наши национальные недуги — фатализм и мистицизм, зараза, введенная в кровь нам вместе с кровью монгольской, болезнь, усиленная теми увечьями, которые нанесены душе

русского народа мучительными веками его истории, полной неисчерпаемых ужасов.

Что это так — тому доказательство наш фольклор — собрание гимнов и акафистов разным необоримым силам: Судьбе, Доле, Горю-Злостью и другим существам, которые непобедимы волею человека и с которыми поэтому бесполезно бороться.

Церковь, не отрицая бытия этих страшных и враждебных человеку сил, назвала их бесовскими, но многие и, вероятно, искренние приверженцы ее — вполне согласны со словами Святогорца: «Если не верить в существование демонов, то нужно все священное писание и самую церковь отвергать».

Что фатализм вообще свойствен нам — об этом нелицеприятно свидетельствует вся история «умственных увлечений» русской интеллигенции, всегда подбирающей на Западе преимущественно те идеи, которые родственны фатализму.

Сказав «увлечения», а не «течения», как принято, я не оговорился: течение — нечто последовательное, строгое, творящее традиции и этику, а какие же традиции и какая этика может быть у людей, которые каждое десятилетие меняют верования свои!

Наше несчастье — пассивное отношение к жизни, мы любим быть пессимистами и любим хвастаться своим пессимизмом. При этом нами, кажется, не замечено, что европейский

пессимизм является результатом чисто физического утомления — устают люди от большой работы, на которую они непрерывно расходуют свои жизненные силы, видят несоответствие результатов труда с запросами духа и — немного нервничают. Но на Западе пессимизм не ослабляет энергии, не может задержать темпа жизни, там он — мирозерцание, не затрудняющее роста культуры, наоборот — он обогащает культуру новыми огнями и цветами гордой человеческой мысли, упорного в своем творчестве духа.

А у нас пессимизм — мироощущение, органический порок, ибо действительность для русского народа не есть плод его познания, результат его деяний, она в его глазах нечто враждебное ему, организующееся в те или иные формы помимо его воли. Я уже не говорю о том, что пессимизм «по-русски» — в народе выражается в таких формах, каковы самосожжения, «красная смерть», «Терновка» и прочие ужасы, в литературе же — он неуклюж, лишен изящества, мысли и красоты и всюду является чем-то «во сто лошадиных сил».

И вот мне чувствуется, что непосредственно из самой массы русского народа возникает к жизни новый тип человека, это — человек бодрый духом, полный горячей жажды приобрести культуре, вылечившийся от фатализма и пессимизма, а потому — дееспособный.

КАК ОНИ ОТНОСЯТСЯ К ЛИТЕРАТУРЕ?

В общем — с полным сознанием важности дела и глубоким уважением к нему.

Привожу выдержки из писем.

Рабочий:

Прошу отнестись без пристрастно, если у меня к этому способности и призвание. Если вы найдете есть, я постараюсь развить их; или же, быть может, это одна фантазия, ни на чем не основанная, то, понятно, я брошу и буду искать более подходящего труда.

Другое письмо:

Автор, молодой рабочий, сидит давно в тюрьме и еще долго сидеть. Имя его должно остаться неизвестным. Он просит вас строже отнестись к наброску и сказать беспристрастно, стоит ли ему писать и как. Он не писатель и не знает, будет ли им когда, но ему больно было бы, если бы он этим наброском оскорбил имя, которому он решил посвятить свою работу.

Крестьянин:

Посылая вам все мои произведения, покорнейше прошу вас сказать... сказать, положив руку на сердце: какие дефекты имеются в моих произведениях и стоит ли вообще продолжать мне это дело.

Швея:

Будьте беспощадны.

Рабочий:

Не постеснитесь сказать правду, как бы она ни была печальна для меня.

Я знаю, что писательство дело святое, я люблю и уважаю литературу, и если что не так — не бойтесь сказать прямо.

Это — преобладающий тон.

Не могу сказать, чтобы люди интеллигентных профессий держались его, и не скажу, чтобы многие из них понимали, что литература — воистину «святое дело».

Вот характерная выдержка из письма курсистки:

Никакого писательского зуда у меня нет, написала я скуки ради, но вижу, что вышло недурно, во всяком случае значительно лучше многого, что теперь печатают в журналах.

Вот офицер:

Я понимаю в литературе не меньше вашего и рекомендовать мне читать Тургенева, Лесковых да Чеховых и других нигилистов вы не имеете права.

Студент:

Совершенно не согласен с вашей оценкой моей повести, вы ее просто не поняли. Вы бы почитали Гюйо «Искусство», — без этой книги мое произведение трудно понять, я писал его для натур исключительных.

Вот образчик того, чем он думал угостить читателя:

За полночь ночи.

На дворе — мороз.

При тихой тишине скрипят шаги вдали; — кто там идет на белом — черный, как кошмар ребенка, тяжелый и немой, как пьяный сон или моя тоска?

Я в комнате сижу один и жду тебя — не ты ли это, не тебя ли души моей палящим оком вдали, сквозь стену дома я вижу, о, Раиса?

Чиновник:

Терпеливо читайте до 28-ой главы. До этой главы покажется старо и шаблонно. От 28 же вы увидите нечто новое, оригинальное. Самая суть в конце, а до 28-ой главы — это ступени лестницы.

Студент:

В журналы не пройдешь без протекции или не

надев на себя хомута партийности; я обращался в два, но бонзы, сидящие там, столько же понимают в искусстве, как я в китайской грамоте или в стихоплетениях В. Иванова.

Такие выходки очень часты, и нередко начинающий писатель из так называемой «культурной среды» производит очень тяжелое впечатление — не столько своей развязностью, сколько полным незнанием русской литературы.

Было бы, однако, несправедливо умолчать о том, что и среди «писателей из народа» встречаются люди крайне развязные, наянливые и — что всего хуже — люди, спекулирующие на плохую память тех, к кому они посылают переписанные ими чужие произведения, выдавая их за свои.

В разное время мне прислали: рассказ Ломачевского «Нечистая сила» под измененным заглавием «Наваждение»; «Витушкина» — Салова; «Принциписты-самоубийцы» — Шкляревского и «Старуху» — Н. Успенского.

Называю эти рассказы на случай, если статья моя попадет в руки господ переписчиков, и покорно прошу их впредь не беспокоиться: русская литература богата, но не столь велика, чтобы можно было незаметно обкрадывать ее.

Но и «культурные люди», очевидно, «скуки ради» шутят подобным же образом, с тою

разницей, что, будучи грамотны, они немного переделывают переводные рассказы из старых журналов. Тоже бесполезное занятие — бесполезное и постыдное.

ТЕМЫ РАССКАЗОВ

Мне кажется, что в выборе тем всего сильнее сказывается разница между настроением интеллигента и «писателя из народа».

Рабочий пишет о том, как грубый, пьяный сторож изменяется под влиянием молодежи: перестает бить жену, взял сына из мастерской и отдал его в школу, а сам начал читать книги.

Студент, ссыльный:

Молодой студент, лесник, веселый малый, хороший пропагандист и оратор, приехал на лето к дяде, мельнику, и там опивается в компании дяди, урядника, волостного писаря и попа.

Крестьянин:

Учительница, легкомысленная барышня, дворянка, — кокетничает с попом, попадья плачет. Приезжают в село власти собирать подати, продается крестьянский скот, худоба; плач и рев, учительница раздает свои деньги, умоляет станового прекратить продажу, он смеется, она его обругала. Ее прогнали, уезжая, она трогательно прощается с крестьянами, справедливый старик Кемсков провожает

ее словами: «Ничего, не стыдись, за добро твое тебя гонят, ничего, горлинка».

Дама:

Рассказывает о даме же, которая после нескольких лет на революционной работе — поносит революцию, своих товарищей и всю жизнь за то, что она, героиня, потеряла время любить.

Крестьянин:

Священник доносит на крестьян, приехала власть, двоих расстреляли, священник спустя некоторое время служит о них панихиду, Христос с креста смотрит на него косо.

Священник:

Деревенские парни добыли пороху, начинили им крынку и взорвали клеть лавочника; при взрыве оторвало ногу его тетке, старухе. Потом один из парней выдает виновных, шестерых увозят в тюрьму. Написано очень зло, со многими текстами из самых сердитых пророков.

Крестьянин:

Взяли парня в солдаты; на войне оторвало ему ногу; возвращается он домой в деревню и узнает, что любимая им девушка развращена, хозяйство разорено, мать умерла, отец спился. У него — орден за храбрость, но работы он не находит и, хромой, становится вожаком слепых — слепых в буквальном смысле.

Эмигрант, партиец:

Солдат, возвратясь с войны, поступает в стражники и терроризирует свою деревню.

Семинарист рассказывает, как удачно он, гостя у попа, ухаживал за деревенскими девушками, а рабочий весело повествует о том, как, живя в ссылке в глухой деревне севера, он устроил кооперативную лавку.

Подобных противопоставлений можно привести очень много, и они ставят перед читателем два ряда людей, которые в своих взглядах на жизнь и человека, в своем настроении резко и далеко разошлись.

Писатель-самоучка настроен идеалистически — как и следует демократу молодой страны; писатель же интеллигент — скептик, пессимист и нытик. Один ряд людей в самых тяжелых условиях и положениях упрямо ищет и находит нечто ободряющее, человечье; другой — явно склонен ощущать мрачное, подчеркивать скотское и зверское.

Одни рассказывают о девушке, дочери богатого мироеда, как она, «страдающая за бедных», ворует у отца деньги и тайно, «тихой милостиной», раздает их деревенской нищете; о тюремном надзирателе, который, избив политическую арестантку, получил смертный приговор от ее партии, а когда его жена упросила заключенную отменить приговор, он, вместе с женой, «удочеряют» безродную «политичку». Заметно вдумчивое отношение даже ко врагу, который завтра же, может быть, схватит автора за горло и ввергнет его во узилище.

Иногда — но не часто! — эти рассказы наивны, их досадно читать, идеализм слишком слащав, паточен, но — вспомнишь условия, в которых все это пишется, и с великим уважением поклонись этим далеким, новым, стойким людям.

Надо почувствовать то, что лежит под их наивными рассказами, понять, чем вызваны эти длинные, неуклюжие повести, написанные трудным почерком, разбирать который устают глаза, и тогда станет ясна крепкая вера этих духовно здоровых людей в торжество добра, разума и правды.

А рядом с этими малограмотными рассказами приходится читать плоды творчества людей грамотных — становится тяжело, тошно, досадно, и — простите! — нестерпимо хочется говорить обидные, злые слова.

Пишут о том, как туп, грязен и скотоподобен русский мужик; читаешь и — поражаешься тем малым знанием жизни и людей, той духовной нищетой, которую обнаруживает автор.

Просишь — почитайте Муйжеля, Подъячева, Крюкова — они современники ваши, они не льстят мужику. Но посмотрите, поучитесь, как надо писать правду!

Обижаются и отвечают: не учите!

Я же никогда не учил и не учу, я только рассказываю, а иногда советую.

Рабочий, недавно столь популярный, ныне

изображается по преимуществу мрачными красками, и читать слово товарищ, нередко поставленное в кавычках, мучительно стыдно за тех, кто употребляет эти кавычки!

Пишут о «лигах свободной любви», изображают подробно и гадко разные случаи насилий над женщинами, рассказывают — не без любострастия — о женщинах, насилующих гимназистов, о ренегатах-провокаторах — о мерзостях, все о мерзостях.

Само собой разумеется, что мерзость надо обличать, и если мужик — зверь, надо сказать это, если рабочий говорит: «Я — пролетарий!» тем же отвратительным тоном человека касты, каким дворянин чудесных рассказов Л.Н. Толстого говорит: «Я дворянин!» — надо этого рабочего нещадно осмеять, но — все надо делать прежде всего — любя, а затем — зная!

А творятся все эти скептические повести разочарованными людьми — без любви, без знаний, без таланта.

Однажды, между прочими вещами словами, Лев Николаевич Толстой сказал: «Что такое талантливый человек? Это прежде всего человек, который любит. Вот, посмотрите, все влюбленные — талантливы, когда влюблены».

У людей моего круга опыта — нет любви, нет знаний жизни и — ужасное отношение к русскому языку.

После Тургенева, Лескова, Чехова, при Ко-

роленко студент второго курса, «изучивший всю русскую литературу назубок», пишет:

Я утверждаю, что мой труд написан вполне оригинально и посредством одной интуиции, его основной мотив — преобладание в человеке интуитивного над интеллектуальным. Вибрация тембра стиха нимало не совпадает ни с «Демоном», ни с «Онегиным», ни с стихами Брюсова и Бальмонта. Звуковые отношения измышлены мною и моя поэма, утверждать могу, вполне самостоятельна.

Один из героев его поэмы говорит:

Долой иллюзии! Мы живем в зоологическом саду, а зверей можно перевоспитать только приемами доктора Моро.

А крестьянин-эсер пишет:

Теперь, когда я прочитал Ключевского и Пыпина, вижу, что неправ был Темкин, говоря, что на Руси никто больше кающегося дворянина не заслуживал поэтического апофеоза. Нет, поэтический апофеоз и терновый венец, и все, чем можно украсить человека, — русскому народу принадлежит.

Сознаюсь, что густота тех выводов, которые у меня получаются, неожиданна и для меня самого, я смущен этой густотой. Когда чита-

есть одно, два письма, три, четыре рукописи, а затем, через неделю, скажем, другие письма и рукописи, — впечатление от них разобщается, прослаиваясь иными впечатлениями дня, и общее в них становится незаметно. Но, прочитав весь мой материал за один прием, я был поражен и, прямо скажу, несколько испуган противоречием настроений между «человеком страшной жизни» и интеллигентом.

Чтобы читателю было ясно, как далек я от преувеличений, — рекомендую его вниманию «Записки литературного Макара». Автор этих записок — рабочий Сивачев, и в них внимательный читатель увидит, чем грозит этот разрыв интеллигенции с народом. Чем он грозит и какие принимает формы.

С другой стороны, напомним, что я пишу в дни, когда возможно шесть изданий книги, в предисловии которой автор, призывая к «созидательной работе», предлагает внести «во глубину России мир, свет и знание», а в тексте книги говорит устами одного из героев, явно сочувствуя ему: «Если бы у нас в уезде вздернули трех-четырех...»

И приводит такой диалог:

- Послушать вас — народ, выходит, совсем зверь.
- Помноженный на скота.
- Господа, не обижайте скотов и зверей. Мужик куда гаже.

Раньше на такие книги не обращали внимания, а ныне — влиятельной газетой, в которой пишут люди культурные, — злая и темная книга эта признана за верное отражение действительности.

А простые русские люди начинают смотреть глубоко вдаль, а не только себе под ноги, как смотрели раньше; вот что, например, пишет один «отец из глухой деревни»:

Сам уж буду жить по-собачьи, недосыпая, недоедая, а дети мои — поживут! Увидят, узнают, оценят все лучшее в жизни — науку, искусство, людей — дальних и ближних, и пусть построят — новое.

Мы живем в стране, где слой интеллигенции опасно тонок, — может быть, отчасти поэтому она и неустойчива столь жалобно; мы живем в стране, где всякий серьезно думающий, любящий, желающий работать человек должен быть ценим высоко, — надеюсь, это не нуждается в доказательствах.

И мне кажется, что именно сейчас, после 1905 года, интеллигент должен бы с великим и особенным вниманием присматриваться к росту новых идей, новых сил в массе «потревоженного» народа — в той почве, которую его отцы в течение долгих лет пахали «плугом ума», к росткам той пашни, на которой они с великим трудом сеяли «разумное, доброе, вечное».

Она, посеянная, дает всходы — ибо никакая энергия не пропадает бесследно.

Я обращаю внимание скептиков на молодую литературу белорусов — самого забитого народа в России, — на работу людей, сгруппировавшихся вокруг газеты «Наша нива». Позволю себе привести песню, изданную недавно «Нашей нивой», слова написаны белорусским поэтом Янком Купалой:

А кто там идет по болотам и лесам

Огромной такую толпой?

Белорусы.

А что они несут на худых плечах,

Что подняли они на худых руках?

Свою кривду.

А куда они несут эту кривду всю,

А кому они несут напоказ свою?

На свет божий.

А кто ж это их, не один миллион —

Кривду несть научил, разбудил их сон?

Нужда, горе.

А чего ж теперь захотелось им,

Угнетенным века, им, слепым и глухим?

Людьми зваться*****.

Чтобы уяснить себе глубокий смысл этой песни, — которая, может быть, на время станет народным гимном белорусов, — читателю

***** Прошу Янку Купалу извинить мне дурной перевод его красноречивой и суровой песни.

следовало бы посмотреть «Нашу ниву» — она много интересного скажет ему.

Укажу также на быстрый рост татарской прессы и литературы в России, на культурную работу татарской интеллигенции в Казани, Симферополе, Уфе, Баку. Это — явление вчерашнего дня, оно было бы невозможно десять лет тому назад.

Думаю, что мне не надо упоминать об успехе народного университета Шанявского, о стремлении к самообразованию в городах, среди рабочих, и о прочих всем известных явлениях этого порядка.

Не есть ли это движение народа навстречу культуре? Не оттого ли, что культурная среда в стране слишком разрежена и бедна здоровыми активными идеями, — психика русского интеллигента так неустойчива, расшатана и судорожна в своих проявлениях?

И не станут ли «мудрецы и поэты, хранители тайны и веры», жить здоровее, проще, веселее, и не будет ли творчество их мощнее, если они снова коснутся земли, народа, демократии?

Вильям Джемс, философ и человек редкой духовной красоты, спрашивал:

— Правда ли, что в России есть поэты, вышедшие непосредственно из народа, сложившиеся вне влияния школы? Это явление непонятно мне. Как может возникнуть стремление писать стихи у человека столь низкой культурной сре-

ды, живущего под давлением таких невыносимых социальных и политических условий? Я понимаю в России анархиста, даже разбойника, но — лирический поэт-крестьянин — это для меня загадка. Я мало знаю русскую литературу, но все, что знаю, рисует русских изумительно, бешено талантливыми людьми. Это проявляется только в области искусства?

Ему рассказали о волжском судоходстве, созданном «простыми», неучеными людьми, о самоучках-техниках, о философе Сковороде, о русских путешественниках, искателях «новой земли».

— Сильный народ у вас! — горячо сказал он. — Естественно, что ваши честные люди так любят его и так героически гибнут за свободу страны... Любовь — живая, деятельная любовь — это и есть рычаг, который повернет землю к солнцу так, что вся жизнь станет светла, бодра и радостна.

Не будем говорить о любви к народу — кажется, это чувство ныне вызывает улыбки мудрых гимназистов, «уставших от сложности и напряженности современной».

Но напомним еще раз о необходимости внимания и уважения к народу, — народ требует уважения к нему, внимания к его поискам, к работе его проснувшейся мысли.

(1910)

О дураках и прочем

Любимый герой русских народных сказок — Иванушка-дурачок, человек, который терпеливо и покорно переносит все невзгоды жизни, преодолевая их не силою разума и деяния, а покорностью судьбе и терпением. За эту способность сказки награждают его «по щучьему велению» богатством, покоем, красивой, мудрой женой и даже королевским тронном, а действительность — мы все по себе знаем, чем награждает суровая действительность людей излишне терпеливых.

Романский и германский фольклор изображает дурака или человеком «себе на уме», существом, которое притворяется глупым в целях самозащиты, или же относится к дураку с иронией, презрением, сарказмом.

У нас дурак «глуп до святости»; насмешливое отношение к нему пропитано добродушием, чаще же насмешка сочувственно печальна, и в ней легко можно уловить поч-

тительное удивление, кроткую зависть перед счастьем глупости.

Наш сказочный дурачок всегда живет чужой силой, но не потому что он победил силу и убедил служить ему, — нет, сила помогает дураку только из сострадания к его глупости. Ему служат «Сивка-Бурка, вещая каурка», «конек-горбунок», «царевна-лягушка», «Василиса Премудрая», сам же он в затруднительных случаях, из которых слагается его глупая жизнь только плачет «горючими слезами» и жалуется на свои немощи. Он — существо внутренне бессильное, всецело зависимое от случая и всегда ожидающее помощи со стороны, все равно откуда и от кого, хотя бы от «нечистой силы». Но в конце концов терпеливая, всевыносящая глупость обязательно вознаграждается покойной жизнью, и это очень важно, ибо именно в этом скрыт социально-педагогический смысл сказки о дураке.

Человек все перенес, хотя ничего не победил, обошел препятствия, не устранив их. Его потомки будут жить в тех же тягостных условиях, с тою же надеждой на помощь «Сивки-Бурки».

Иванушка-дурачок создан крестьянской массой, живущей в полной и вечной зависимости от сил природы; массой, результаты каторжного труда которой — невидимы, незаметны, ибо чрезвычайно неустойчивы во времени.

Все, что весной и летом сработано, прода-

но и съедено осенью; зимой не остается ничего, чем можно было бы радостно любоваться, ничего кроме тяжелой усталости, напоминающей об изнурительном труде. Ясно, что при таких условиях человеку трудно воспитать в себе стремление к деятельности, выходящей за пределы личной жизни, и нет возможности развить страсть к деянию, преображающему жизнь. Труд крестьянина велик, но не устойчив, и потому не может возбудить в работнике чувства законной гордости самим собою. Из этой унылой действительности только сказка уводит в другой мир, эта действительность выгодно и приятно выделяет дурацкую, но удачливую жизнь Иванушки.

«Дуракам — счастье», — говорит народная «мудрость», добавляя не без зависти: «Глуп, как вошь, а счастье сплошь», «Дурак жив не работой, а удачей».

Городская масса живет в условиях, которые должны бы возбуждать в ней иное отношение к деянию, иное к Иванушке-дурачку. Город — нечто весьма стойкое, пожар не уничтожит его дотла, как уничтожает деревню. В городе на каждом шагу человек видит грандиозные результаты побед его разума над силами природы, дворцы, храмы, памятники — все это энергия человека, воплощенная в камне и металле на века. Блеск и роскошь городов, обилие красивых вещей, дорогих товаров — все это челове-

ческое, все создано человеком и дает ему право гордиться собою, работой своего разума, воплощением своей силы, запечатленной всюду — от булыжника мостовой до огромного рубина в витрине ювелира, от фабричной трубы и разумно работающей машины, до неподражаемых созданий искусства в залах музеев.

Город — поэма труда, воплощенного во всем, что видит глаз, все окружающее человека в городе должно бы внушать ему сознание своей универсальности, всеобъемлемости; будить чувство уважения к себе, доверия к силе разума, любви к непрерывному деянию.

Литература, в огромной части своей, тоже создание города, но русская литература посвящает городской жизни очень мало внимания и сил, по большинству своих тем — это литература о деревне.

И, вероятно, поэтому печатная литература, так же как устное творчество народа, чаще всего избирает своим героем, своим «положительным типом» тоже Иванушку-дурачка.

Ибо Платон Каратаев, один из наиболее удачных, а может быть, и самый удачный образ «хорошего» русского человека, — такой же Иванушка-дурачок, как и благочестивый ассенизатор Аким, «золотарь», с презрением праведника отрицающий городскую культуру. Страшная деревенская ирония скрыта в образе Акима; ирония, глубоко реакционный

смысл которой мы недооцениваем. Наиболее активные стремления деревенского устного творчества посвящены задаче создать в отвратительных условиях и среди плохих людей «хорошего», «душевного», «праведного» человека.

Над этим же фокусом всю жизнь безуспешно трудился Достоевский — вспомните его героическую попытку сделать вопреки всем законам природы — святого человека из сына-дегенерата, садиста и «мерзавца своей жизни» Федора Карамазова; это действительно напоминает фокусы тех профессоров «черной магии», которые, положив в шляпу разную дрянь, превращают ее — не всегда ловко — в белого голубя.

Как Платон Каратаев и Аким, Алеша Карамазов наделен всеми свойствами любимого народного героя, он тоже «на авось» живет, он так же бессилен и не менее Иванушки терпеливо приемлет все словесные и вещественные гадости. Еще более определенную и более удачную попытку сделать Иванушку-дурачка «положительным типом» Достоевский обнаружил, написав «Идиота».

Н.С. Лесков, один из крупнейших и все еще не оцененных по достоинству талантов, изумительный знаток русской жизни и русского языка, затратил огромные усилия все на тот же фокус — создать из гнилого материала вечный памятник. С величайшим напряжением всех сил таланта он старался найти в каждой об-

щественной группе — тип кристально чистого человека, тип «праведника» среди грешных.

Он превосходно написал глупую нигилистку Вансок, идеального революционера Райнера, великолепного дьякона Ахилла; он выдумывал «инженеров бессребренников», идеалистов-квартильных и бесчисленное количество иных людей «праведной жизни», обязательно наделяя каждого из них приятными свойствами Иванушки. Странно, что Лескова мало читают, это наиболее умело и настойчиво утешающий писатель.

Но талант всегда скажет правду. В «Очарованном страннике» Лесков показал нам героя народных сказок во весь рост, и пред нами снова явился человек, живущий «на авось», по воле случая, а не по своей воле. Это — милый человек, простодушный, но он может совершенно неожиданно наступить подошвой своего сапога на лицо вам, а потом — не без участия — спросить:

— Больно?

Он — не живет, а стелется по путям жизни, как осенний лист, гонимый ветром.

Вся русская литература в своем стремлении создать «положительный тип» неизбежно рисовала нам человека слабовольного, неспособного к действию, и, хотя русская жизнь изредка показывала людей иного характера, они остались не отраженными в зеркале литера-

туры или же отражены отрицательно, злобно, искаженно.

Человек дееспособный, упрямый в достижении личных и общественных целей или «не удавался» нашим писателям, или же они изображали его мошенником.

Тем не менее наша литература весьма усердно искала, да и до сего дня ищет «праведника», «хорошего человека», но эти поиски имеют очень странный уклон: во всех тех случаях, когда писатель не желает показать «праведника» безвольным дурачком, он показывает нам образцового человека иностранцем. Гончаров изображает в качестве такового — трудолюбивого немца, Гоголь — грека, Тургенев — болгарина, Лесков — швейцарца, и — как это ни странно, а холодный фанатик Константин Леонтьев из всех старцев Оптиной пустыни особенно возвеличил «православного немца Зюдергейма».

Не менее странно и то, что Пирогов, Боткин, Сеченов и другие люди этого ряда не удостоились такой прекрасной биографии, какую русская литература почтила гуманного доктора Гааза. Можно бы напомнить десятки фактов такого же смысла, но я думаю, что это излишнее, ибо все факты согласно и скучно свидетельствуют об одном и том же: нам нужны «люди праведной жизни», «золотые сердца», мы их усердно ищем, но не находим и выдумываем по типу народного героя Иванушки

человека, живущего «на авось». А людей активного начала мы не замечаем в своей среде или же, заметив, относимся к ним — в лучшем случае — скептически, чаще всего — отрицательно, почти со страхом.

Следует упомянуть еще и о том, что дурак — выгоден, и для людей хитрых весьма полезно поддерживать славу дурака.

Кроме Иванушки-дурачка нам чрезвычайно любезны юродивые и раскаявшиеся разбойники.

«Юродивые Христа ради» — это явление, совершенно незнакомое Западной Европе — незнакомое в тех формах, в каких оно развилось у нас. Между Франциском Ассизским и Василием Блаженным — нет ничего общего. «Святой жонглер» католической легенды, человек, который приносит в дар Мадонне свое искусство, свое лучшее, делает это, не унижая себя, его любовь насыщена радостью; скоморох Панфалон в изображении Лескова выступает пред людьми в унижительной роли раба и шута.

Русский юродивый служит богу своему со страхом, он любит натужно, тяжело и всегда как бы говорит и богу, и людям в гордости самоуничижения:

— Видишь ли ты, господи, как я мучаю, как унижаю себя, славы твоя ради, — видишь ли? Видите ли вы, люди, как я истязую себя спасения вашего ради, — видите ли?

Русская «радость праведных о господе» это

радость великомученников, которые домучивали себя до бесчувствия и слезно ликуют, предвкушая вечный покой.

От житийных людей, через великомучеников крепостной эпохи, до духоборов, толстовцев и неохристиан мы наблюдаем один и тот же тип — догматика, в сущности своей холодного, бесстрастного и болезненно самолюбивого. Самолюбие этих людей иногда скрыто более или менее удачно, но оно всегда выявляется в том пренебрежении к людям, которое обычно свойственно сектантам и фанатикам, сознающим себя единственно праведными людьми на грешной земле.

Литературный и житейский тип юродивого тоже не лишен некоторого сходства с Иванушкой-дурачком, но ближе всего он напоминает характер Федора Карамазова, Фомы Опискина, а также «истинно-русского неученого дворянина» Аракчеева. Все эти люди — Аракчеев, Иван Грозный, Салтычиха, Опискин, Федор Карамазов — и сам Ф.М. Достоевский находили и находят в мучительстве и «самоистязании» «особенное, сладострастное наслаждение», — психопатология определяет этот вид наслаждения понятием «садизм».

Как везде, и здесь «спрос вызывает предложение», где люди покорно мучаются, там должны быть мучители во множестве. А уж русский человек любит страдать.

Разумеется, юродивый более актуальное существо, чем дурачок и блаженненький, иногда юродивый кого-то за что-то ругает, обличает, хотя и не членораздельной речью. Юродивый живет голодно и грязно среди сытых и внешне чистых. Но его цинизм не есть цинизм Диогена, человека, сознавшего трагичность бытия, чувствующего обиду, нанесенную человеку космосом, это просто цинизм дикаря, неспособного понять ценности жизни, величие человека.

Юродивые созданы все тем же нашим стремлением выдумать «праведника». Именно результатами этого стремления являются то старец Селиванов, то Распутин, то Яков Корейша, московский чудотворец, не сотворивший никакого чуда, «студент холодных вод» Корейша, который валялся в грязи и прорицал будущее такими словами:

— Не цацы, а бенды кололацы.

Жизнь юродивого — тупое и злое отрицание жизни, и вот именно это отрицание делает юродивого праведником. Нам нужен человек лучше нас — мы считаем юрода лучшим человеком, потому что он живет хуже нас. Это — утешает.

Третья наша симпатия — раскаявшийся разбойник.

Сначала он неестественно жесток, безжалостен, но наступает «по щучьему велению» — момент какой-то усталости, и разбойник говорит:

— Много было с молоду бито, граблено,
Много было кровушки пролито, —
Под старость надобно душа спасать.

И уходит в монастырь, в лесной овраг, в «прекрасную мати пустыню» отмаливать грехи, вызывая к себе слащавое отношение со стороны тех, чьи разорял достатки, чью «кровушку» проливал. Это отношение можно проследить от разбойников сказок и вплоть до генерала Думбадзе, который накануне смерти тоже удостоился всепрощения со стороны ялтинских обывателей.

Романтизированные разбойники Запада, бесчисленные Ринальдо-Ринальдини, рисуются в ореоле борцов за социальную справедливость — русскому народному творчеству такие борцы неведомы. «Атаман Буря», «Егорка Башлык», «Разбойница Устя» и другие фигуры лубочных книжек — плохие переводы с иностранного. Галицийский разбойник Довбыш — западный тип, наша действительность не создала подобного ему. Ни Степан Разин, ни Емельян Пугачев не могут жить и действовать, не опираясь на силу вне себя — на патриарха Никона, Петра III; покоритель Сибири Ермак, слуга купцов Строгановых, не имеет ничего общего с Робертом Гвискарром, рыцарем разбойников из Нормандии, который завоевал Силицию, создал в ней высококультурное государство. Рус-

ский разбойник — это тоже человек без цели, человек, поклоняющийся трем божкам нашего быта: «авось», «не бойсь» и «как-нибудь».

Русский разбойник — все тот же безвольный человек, лишенный уверенности в самом себе, — именно этой неуверенностью и безволием весьма часто объясняется его жестокость. Он не столько действует, сколько испытует: а что будет, если я сделаю вот так?

Сказка и легенда любит разбойником не в ту пору, когда он активен, а именно с той поры, когда, раскаявшись в грехах, он начинает «душа спасать».

Многим кажется, что превращение разбойника в праведника свидетельствует о том, как глубока и неугасима наша вера в добрые начала человека, в конечную победу добра. Но — вера способна творить чудеса только в сказках и легендах, действительность только знает чудеса, творимые настойчивым, упорным трудом. И чудеса действительности всегда грандиознее чудес легенды.

Раскаявшийся разбойник — явление, которым наша история чрезмерно богата, это явление постоянно повторяется.

На нашей памяти всенародно раскаялись в грехе активного отношения к жизни Лев Тихомиров, Борис Савинков и множество подобных грешников, вплоть до маленьких клопиков из обывательских щелей. Забудьте на время

о различии между разбойником и ренегатом, отбросьте в сторону криминальное прошлое, и пред вами оголится некий однообразный процесс: в сущности все эти люди раскаиваются в том, что когда-то они осмеливались действительно вмешиваться в жизнь, пробовали изменять ее течение, ее условия.

Дурак, юродивый и покаявшийся грешник — вот характеры, наиболее разработанные нашим фольклором и литературой.

Первый из них — наиболее любим и наиболее поучителен. Он живет, как уже сказано, по воле случая, в надежде, что явится кто-то со стороны — и устроит ему благоприличную, покойную жизнь. Он — пассивный отрицатель разума, деяния; из примера его жизни народ выводит поучение для себя: «Умом ниже — богу ближе».

Второй — отрицая всю жизнь, издеваясь над смыслом ее, отвергая культуру, — примиряет нас с тем отвратительным бытом, который мы создали. Нам необходим человек лучше и хуже нас — юродивый совмещает в себе и то, и другое. Третий выдуман затем, чтобы в известный момент греховной деятельности своей сказать нам: все — ложь, а истина — в покорности!

Каков же вывод отсюда?

Простой, но неприятный.

У нас, видимо, есть некий тайный, глубоко скрытый стыд за себя, за нашу лень, за

неуменье работать, за всю нашу неприглядную, дрянную, обидную жизнь. Мы не в силах освободиться от этого стыда деянием, и он понуждает нас выдумывать для самоутешения «хороших», «душевных», «праведной жизни» людей. Выдумывать, но — не создавать, ибо, не веря в себя, в свои силы, — ничего не создашь, кроме фантазии и сказок.

Я должен напомнить рассказ о дурачке Нилушке и хитром Антипе Вологонове, который хотел создать дурачку славу праведника; на мой взгляд, Антипа выдал истинный мотив пристрастия нашего к праведникам, извиняюсь — он сказал это словами грубыми:

«Утешеньишко людишкам, — жили-были стервы и подлецы, а нажили праведника».

Да, да, это очень грубые слова, но они — правда, обидная правда, конечно.

Это правда, что мы, люди умственно ленивые, социально не развитые, политически изнасилованные, стремимся нажить — точнее, выдумать, ибо «нажить» значит «выработать» — «хороших», «праведной жизни» людей для нашего самоутешения. Для нас было бы невыгодно, неудобно представить себе этих людей энергичными, упрямыми в достижении целей, людьми, которые говорят:

— Мы в мир пришли, чтобы не соглашаться!

И, говоря так, страстно стремятся выйти из тесных границ своего личного, классового,

национального к всемирному, к общечеловеческой работе.

Нам удобнее представлять себе хорошего человека терпеливым дурачком, или юродивым, или, наконец, грешником, который обязательно и неизбежно должен покаяться во грехах своих. Мы можем представить себе «хорошего» человека только по образу и подобию нашему, не более того.

И — знаете для чего, в конце концов, нужен нам хороший человек?

Отнюдь не для того, чтобы с гордостью любоваться им, как нашим созданием, не для того, чтобы помочь ему осуществить его идеи и намерения, — нет!

Нам нужен «праведник» затем, чтобы мы могли возложить на его плечи всю тяжесть ответственности за наше бессилие, за нашу лень жить и работать, за все наши личные и общественные грехи.

У нас нет сознания личной ответственности за грязь жизни и мерзости ее, мы обвиняем за дрянь, разведенную нами на земле, бюрократию, полицию, интеллигенцию, литературу, обширность страны, недостаток путей сообщения — все и всех, кроме себя. Мы возлагаем наши надежды на Николая Угодника, на «авось», на союзников, армию, Милюкова, Гучкова, на блаженных, гадалок и колдунов — на все и всех, кроме себя.

Здесь нет полемического преувеличения. Возьмем, для примера, обывательское отношение к Государственной Думе как воплощению идеи представительного правления. Когда учреждена была Дума, этот акт тотчас же вызвал у обывателя понижение и угасание общественных эмоций; интерес к «общественному делу» стал быстро падать.

Этот процесс понижения «общественных» чувств я не могу объяснить только тем, что идея представительного правления воплощена в нашем «парламенте» уродливо, искаженно, — ведь если это понято, это должно быть исправлено.

Нет, упадок социальных эмоций обывателя я объясняю тем, что, как только орган, явно немощный и неспособный к политическому творчеству, начал работать, — обыватель немедленно возложил на него все свои надежды и чаяния, тотчас же снял с себя ответственность за все дальнейшее и успокоился в привычном тоне дрянненького русского нигилизма.

Очень хорошо помню, как вскоре после учреждения Думы услужливые потомки Хама начали издеваться над «общественностью», «политикой» и усердно занялись разрушением социальной идеологии.

Им неясно было, что распад идеологии всегда является и распадом социальной морали, ибо всякая идеология обязывает носителя ее

к известной линии социального и личного поведения, устанавливает тот или иной взгляд, то или иное отношение к жизни, к человеку. Идеология — организует. У нас поторопились «разрушить идеологию» и достигли в этом деле солидного успеха: обыватель совершенно утратил всякое отношение к действительности и покорно, терпеливо ждет чуда — помощи «Сивки-Бурки», роль которой — как об этом мечтают многие ныне — должен взять на себя солдат.

Лет тридцать тому назад обыватель ожидал, что его выведет на «широкий путь к свободе» учащаяся молодежь. Предполагалось, что сквозь щель, пробитую лбами студентов в китайской стене нашей «государственности» пролезет вся масса обывателя к лучшим условиям жизни.

Измотанная политикой молодежь хладнокровно предавалась на расправу врагу, а позднее была ядовито осмеяна за увлечение политикой теми же самыми «учителями жизни», которые вызывали и разжигали в ней оппозиционное настроение.

Затем точно так же была использована сознательная часть рабочего класса: она явилась молотом, который пробил-таки для обывателя довольно широкую брешь в стене старого порядка, — эту брешь трудолюбиво заделывают и почти уже заделали т.н. кадеты во главе с П.Н. Милюковым, поэтом оппорту-

низма, гениально воплощающим психологию русского обывателя.

Пролетариату своевременно и бесстыдно изменили, но — кажется, снова возникают надежды на помощь с его стороны.

Мы всегда действовали по одному и тому же плану: уговорив кого-нибудь проломать в стене препятствий маленькую щелочку, мы старались протащить сквозь нее весь груз наших вожделений и, конечно, застревали в щели, искажая и себя самих, и свои вожделения. Опрокинуть все препятствия сразу — у нас не хватало ни воли, ни разума, а главное — не хватало доверия к человеку. А надеяться нам не на кого, кроме как на самих себя, на свою волю, свой разум. Жизнь становится все более сурово-требовательной, завтрашний день грозит нам катастрофой.

И уже не утешит нас Иванушка-дурачок, не примирит с жизнью и не защитит юридический, и ни в каком случае нельзя ожидать, чтоб разбойники, командующие нами, покаяться во множестве пакостей своих.

Нам необходимо переделать себя изнутри, необходимо возбудить в себе страсть к делу, любовь к работе.

Без этого мы погибнем «яко обри, их же несть ни племени, ни рода».

(Написано до революции)

Источники:

1. Среди металла (В машинном отделе). Развлечения. Заметки о мещанстве. По поводу. Собрание сочинений в 30 томах, том 23. Государственное издательство художественной литературы, Москва, 1953 год.

2. О цинизме. Разрушение личности. О писателях-самоучках. Собрание сочинений в 30 томах, том 24. Государственное издательство художественной литературы, Москва, 1953 год.

3. О дураках и прочем. Максим Горький. Статьи 1905–1916 гг. Второе издание без цензурных изъятий и дополненное двумя статьями. Издательство «Парус», Петроград. 1918 год.

common place

издательская инициатива/волонтерский
DIY-проект

Наши книги всегда можно купить в независимых магазинах
«Фаланстер», «Смена», «Все свободны», «Бакен», «Князь
Мышкин», «Факел» «Пиотровский», «Циолковский»,
«книжном клубе «Петровский», а также заказать с доставкой
на сайте: izd-siyanine.ru

больше информации о проекте на сайте common.place

Красный Горький

Избранные статьи (1895-1917)

Обложка — *Ставицкая Евгения*
Корректор — *Диана Коденко*

Подписано в печать 15.05.2016
Формат 80x100/32
Тираж 500 экз.
Заказ № 161

commonplace1959@gmail.com

Отпечатано в ПАО «Т8 Издательские технологии»
109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 42, корп. 5
Тел.: +7 (495) 221-89-80